

Альдо Дель Монте

КРЕСТ
НА
ПОДСОЛНУХАХ



Москва 2000

Альдо Дель Монте

КРЕСТ НА ПОДСОЛНУХАХ

Перевод: *Леонид Харитонов*
Редактор: *Галина Харитонова*
Корректор: *Наталья Сунозова*
Компьютерная верстка: *Михаил Мень*

Текст набран шрифтом
«Нью Баскервиль»

ISBN 5-89831-014-2
УДК 2
ББК 84

© Леонид Харитонов, перевод

*Дневник
капеллана
в
России
(1942-1943)*

Предисловие к русскому изданию

Это — просто “дневник души”. Я составил его в тиши и в мире среди гор, в особых обстоятельствах: пройдя, незадолго до этого, через русский катаклизм. Сменялись госпитали, где я лечил раны, полученные на войне, шел месяц за месяцем, а мне всё снились и снились кошмары. Однажды утром меня вызвал к себе лечащий врач и сказал без околичностей:

— Отец Альдо, травматология, в твоём случае, быстро исчерпала свои возможности, но остается нерешенной другая проблема: последствия психологической травмы. Мы решили отпустить тебя на три месяца, — с одним условием. Выбери, по своему усмотрению, милое сердцу уединенное место и опиши там всё, что ты пережил в России; закончишь — отдай нам тетради, а потом забудь об этом лет на пятнадцать.

Я понял, чего он хотел добиться, и с благодарностью принял его предложение. Засел в горах в провинции Новара, под сенью Монте Розы. Писал я с радостью, стремясь к избавлению; и окончил в срок. Вернулся в болонский Травматологический центр “Путти”, от-

дал тетради своему другу; потом решил забыть о них и об их содержимом на 15 лет; а он — решил их издать. И получился бестселлер!

Но произошло нечто странное. Когда я избавился от изнурительных ночных невзгод, мне вдруг стало по-новому ясно, сколь исторически грандиозно то, что случилось в России. Телесные раны затянулись. На их месте возникла, причиняя еще большую боль, глубокая душевная рана. Исцелилась она через те самые пятнадцать лет, когда Дух Святой неожиданно вверх меня в самую сердцевину второго величайшего события века — Второго Ватиканского Собора.

Что же представляла собою трагедия последней великой мировой войны? Нечто гораздо, гораздо большее, чем просто военные действия. У века, завершающего второе тысячелетие, — загадочный лик таинственного библейского события. Кажется, небо и земля сошлись в споре. Непрестанное, настойчивое, смутное подтачивание культуры священного, наглость атеистического материализма, который с давних пор разъедал мысль, устремлявшуюся к Богу, в XX веке взошли на кафедру; они захватили руль истории и повели ее корабль к катастрофе.

В действительности атеизм утвердился над умами не без их сопротивления. Только Карлу

Марксу казался бесспорным тезис о том, что “религия есть опиум для народов”. Сами основоположники материалистического атеизма не были столь непреклонны. Даже Энгельсу еще приходилось вести борьбу со Христом. Барбюс, один из самых фанатичных французских марксистов, не стеснялся писать: “Религия основывается на Христе, и я покажу вам, что если говорить о Христе как о человеке, то надо говорить о нем как об одном из наших. Он был социалистом-революционером”.

Как бы ни понимать эти и подобные свидетельства, авторы которых не только мифологизировали образ Христа, но и использовали его во благо революции, не вызывает сомнений, что теория и практика большевизма сталкивались с огромными трудностями в истолковании христианства.

По мере того как великий поход к “солнцу будущего” набирал ход, его участники выметали с дороги это культурное псевдородство и объявляли на площадях: “Нам Христос не нужен!” И все же на протяжении второго десятилетия двадцатого века этой проблематике, пусть под бдительно-непримиримым взглядом Ленина—Луначарского, все еще уделялось внимание, хотя официально ее считали исчерпанной. Именно

большевики выступили с инициативой проведения публичных диспутов об Иисусе и христианстве.

Вероятно, последним серьезным и подготовленным их оппонентом был обновленческий митрополит Введенский, который в публичном диспуте с Луначарским отстаивал “глубокую способность Иисуса объять весь спектр человеческого опыта”.

Об одном из таких диспутов вспоминает очевидец, Анатолий Левитип-Краспов.

Введенский был “без облачения, в рясе, без белого клобука... Короткие, курчавые волосы, высокий лоб”.

“Сначала говорил Луначарский. (...) Публика слушала его невнимательно, и так было всем известно, что он скажет. Все взоры были устремлены на человека в рясе, сидевшего на эстраде, которого Луначарский называл “гражданин Введенский”. Но вот после речи Луначарского председатель провозгласил: “Слово предоставляется оппоненту, гражданину Введенскому”. Он вышел на кафедру. Половина зала бурно заплодировала.

Он начал говорить. Сначала обыкновенные фразы, сказанные в духе светского разговора. Потом он разгорячился, и речь стала нервной, порывистой.

Он говорил о гармонии, которая разлита в мире; он сравнивал религию с музыкой, которую

отрицать невозможно, потому что ее невозможно понять разумом. Он говорил о любви отца к ребенку (голос его при этом стал нежным, ласкающим): докажите отцу, что эта любовь не существует. А потом он стал говорить о религиозном чувстве, о слиянии с универсумом, об ощущении, которое врожденно, которое пробивает себе дорогу, несмотря на все препятствия. Он рассказывал о двух девочках из приюта, которые молились по ночам и чувствовали сладость беспримерную, хотя учительница им и говорила, что Бога нет. Конец: взволнованная речь о религии как синтезе науки, искусства и жажды справедливости. Воодушевление овладело оратором, он ничего не видел и не слышал. Оно передалось в зал. Половина публики повскакала с мест. (...) После окончания — минута тишины. Потом взрыв аплодисментов. В антракте сплошной гомон. Спорящие голоса. Взволнованные лица”.

После перерыва раздраженный Луначарский, бросив язвительную фразу Введенскому, восстановил тишину и оборвал диспут.

Картина эта по-своему символична: описанные события происходили в 1927 году, а через пару лет революционный натиск обрел силу ледокола. Демократия перестала дышать. А на ее место встал Сталин, “великий вождь”, единоличный творец истории без Бога, наводнивший великую Россию потоками никчемных брошюрок. В

них не было и тени педагогической тонкости, они грубо навязывали единственную точку зрения. Отныне всё молчало в России: слышен был лишь голос Вождя.

Примерно в это же время вышло в свет "Возвращение из СССР" Андре Жида, еще одного французского марксиста. По его словам, ему, наконец, довелось увидеть нечто поистине грандиозное: "Такая великая страна, как Россия, посвятила себя замыслу созидания "нового человека", предварительно разрушив все общественные узы, в первую очередь — семейные и религиозные, которые оставались последним препятствием на пути человеческого прогресса".

И действительно, исполинский большевистский бронепоезд набрал ход, безжалостно давя людей, установления и вещи, которые противились его чудо-замыслу. Но довольно скоро довелось и ему столкнуться, в ночной мгле, со своей судьбой. Ночь — то время, когда творят историю сыны князя тьмы, врага человеческого от начала. Они носятся в потемках, как в адской щели, а когда вдруг налетят друг на друга, с ненавистью оплетают собрата, как гремучие змеи. Они порождают смерть, которая реками вливается в историю. И даже уничтожая друг друга,

они торжествуют победу, потому что верят, что убили Творца Жизни.

Одно из этих апокалиптических столкновений произошло на глазах у всего мира, в долинах Волги и Дона. Я был там. Миллионы людей и машин, посланных на убой, шли под одним стягом: “Без Бога”. А на месте Бога были два эмиссара князя тьмы – Гитлер и Сталин. Мир затаил дыхание.

Мы прибыли в излучину Дона как раз вовремя для того, чтобы ощутить на себе всю силу этого адского смерча. Степь дрожала, ночь наполнилась взрывами и сполохами пламени; караваны эшелонов смерти уныло бороздили заснеженную равнину при сорокаградусном морозе, ища выхода. Но большинство осталось под развалинами, пропало в огне, найдя упокоение в уже несуществующем городе.

Дьявольский пожар не погас в Сталинграде. Облизывая степь, он бежал по излучине Дона, крушил опорные пункты, уничтожал армии, заваливал умирающими обледенелые кюветы, а танки всё шли и шли вперед, сея гибель и страх, побуждающий к безумным попыткам спастись.

Тогда-то я и увидел “нагого человека”. В расположении моей части, мобильного хирургического подразделения, штабелями, в три ряда, были

сложены замерзшие трупы. Но мне удавалось еще, через них, поглядывать на единственную дорогу, которая связывала Кантемировку со степью. Тем, кто бежал, неизбежно приходилось по ней проходить или проезжать. И вот, на небольшом каменном мосту, который вел из города, шла жуткая мясорубка. Посреди потока неузнаваемых людей — раненых, обмороженных, умирающих, ты различал бедолаг, ползущих на четвереньках по льду. Кто бы не испытал жалости при виде такого пиршества смерти! Но нет — военные грузовики, набитые под завязку солдатами, зигзагами, с какой-то яростью пробивались сквозь эту толпу несчастных и кого-то из них сбивали, кого-то безжалостно сбрасывали с дороги. Но слёзы начинали катиться из глаз, когда мы видели, как жестоко обращаются с теми немногими смельчаками, которые отваживались цепляться за автомобили в безумной надежде спастись. Их любимыми средствами скидывали на землю, куда они падали без сил или уже без жизни.

Тут и меня охватил страх. Из сердца вырвался вопль:

— Где же Ты, Господи?!

И я поспешил в Россось, в полном духовном кризисе, чтобы искать помощи у о. Карло Ньюкки, друга и духовного отца. Едва увидев меня, он приветно распростер объятия.

— Отец Альдо, — сказал он мне, — знаю, с чем ты пришел ко мне: я тоже видел эту наготу человеческую. Но мы — в страшном водовороте Божьего суда! Мы — в долине Иосафата... — Потом он обнял меня; мы прочли вместе «Отче наш; Радуйся, Мария; Слава».

И всё, он собрался уходить.

— Как, о. Карло, и больше ни словечка?

— Хорошо, скажу тебе кратко о сокровенном: эта мысль пришла мне прошлой ночью, которую я провел под открытым небом. Ни у тебя, ни у меня нет права молчать о том, что мы видели. Помнишь первое Послание апостола Иоанна? «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами... что осязали руки наши, о Слове жизни, — ибо Жизнь явилась, и мы видели ее...»

— О. Карло, но здесь ведь говорится о явлении Жизни!

— Но мы, мой дорогой, скажем об этом же, свидетельствуя о том, как нас сокрушило явление смерти. Самое наше существование было им поколеблено: ты полил эту землю своей кровью. Но отчего всё это? Там, где отвергают Бога, Который есть Источник жизни, действует власть сатаны, который есть пучина смерти. Помнишь Достоевского? «Только красота Божия сможет спасти нас!»

Альдо Дель Монте

КРЕСТ НА ПОДСОЛНУХАХ

Дневник капеллана в России (1942-1943)

К ЧИТАТЕЛЮ

Есть на свете поле подсолнухов, потом язгорок, о который всегда бьется ветер; а сразу за ним, в ложине – кладбище.

Оно идет уступами, нарезанными в черной степной земле: кресты и каски, ничего больше. Под ними – мои усопшие, устроенные немного наскоро, но с материнской заботой. Ребята из всех краев Италии лежат в пяти тысячах километрах от родины. У немногих были ясные идеалы в диком беспорядочном смешении людей и вещей; почти все томились духом, ошеломленные этой бурей на Востоке, в которой они тщетно пытались найти толику истины.

В отчаянии склоняли они головы на снег – зовя мать или прикладываясь, из последних сил, ко кресту, чтобы в смертный час вкусить наконец мира.

Теперь их сон охраняет исполинский Крест, возвышающийся над подсолнухами.

На этих страницах есть нечто от них — слабый отзвук мира, который кажется уже таким далеким.

Изнурительные погони в степи по следам невидимых казацких разъездов, ужасающие драмы атак и поражений, сумасшедшие марши по нескончаемым дорогам, в безрассветные ночи, на фоне беспощадных событий. Пожар, пожирающий человеческие жизни и вещи, которые принадлежали людям, но главное — пожар, пожирающий души.

Люди страшились того часа, который нависал над степью тревожным боем. Что предвещал этот скрежет сталкивающихся машин и протяженный хор ненавистей?

На станции В., после массовой казни евреев, мои ребята жались друг к другу у палатки и содрогались при мысли о победе немцев.

А если проиграем?

Никто не давал ответа. Но приходят минуты, когда удается прорваться к истине. И тогда оружие предстает в своем подлинном виде — как пустой идол, и люди понимают, что они лишь несчастные жертвы на вечно неизменном алтаре человеческих страстей. И тогда военное противостояние лишается своего заветного корня. Это не значит, что перестанут появляться *герои*; они будут, но — как цветы на голых скалах, как живые ошметки мертвых организмов. Наши воины, в

большинстве своем, без труда обнаруживали у себя в душе тот или иной уголок, который стоило защищать до конца: так и формировались у них фронтовые идеалы...

Зима меж тем становилась все более гнетущей, балки наполнялись зловещими видениями, правый берег Дона превращался в сплошную лавину минометного огня. В ту рождественскую ночь (...именно тогда, когда над миром обновлялась тайна Искупления!) — сколько было искореженной человеческой плоти, сколько вздохов о мире, сколько неистовой мольбы о спасении свыше!

Выжившие называли друг друга (это могло быть в последний раз) по имени. Но многие уже шли, в безмолвных колоннах, на север, в неведомые края. Другие лежали вдоль окопов, перемежая крики о помощи *Актом сокрушения**. Большинство же уже окоченело, — уподобившись снегу, степи.

Здесь, повторяю, — лишь отзвук тогдашнего мира, сотрясаемого бурей. Ведь я не собираюсь рассказывать историю о том, как воевал какой-то конкретный человек или подразделение. Мне хотелось бы только уловить и передать внутреннее *сечение* самых драматичных духовных проявлений пережитого человеческого урагана.

Знает Господь, насколько приятнее было бы

* В католической Церкви — покаянная молитва, произносимая верующими, в частности, перед смертью, в случае, если нет возможности исповедоваться священнику (*здесь и далее — примечания переводчика*).

мне говорить о вещах безмятежных: о небесах востока, об очаровании степи, о множестве малых и больших достоинств тех краев и о пройденном пути, столь богатом приключениями.

И не моя вина, что события приняли такой печальный оборот. Я лишь стремился отыскать — посреди бушующей, темной стихии — хоть несколько лучей света.

Автор

СТРАНСТВИЕ К МИРУ

Оставаясь наедине с собой, я имел обыкновение напоминать себе слова Клоделя из «Известия Мариин»:

«Не камень выбирает себе место, но Мастер работ, который избрал его».

Замечательно.

Но кто в юности не гонится за мечтой, в которой пытается разглядеть волю Божию о себе?

Впрочем, это — утро юношеских исканий, потому что дальше — можно сказать, когда солнце уже высоко, — Бог вмешивается, опрокидывая планы и перспективы, переворачивая личные мечты и взгляды, и диктует Свою волю, без прикрас, без обиняков.

Так было и со мною, когда, выйдя однажды утром из своего дома (и насколько-то из своего ма-

ленького внутреннего мира), я обнаружил весь настоящий, большой мир в огне и пламени.

Сентябрь 1939 года.

Война на краковских лугах и на Висле.

Быть может, лишь незначительный эпизод в истории человека...

Нет! Это стремительно разбегающийся пожар. Прежде в сердцах людей таилось умиряемое до поры пламя; теперь, как по сигналу, эта потаенная реальность вырвалась наружу с неукротимой силой.

Война в казематах Мажино.

Война на равнинах Фландрии; затем – в норвежских фьордах, в нидерландских тюльпанных полях, в балканском полесье, на африканских амбах*, в украинских пшеничных и подсолнуховых полях...

Индия, Япония, Америка...

Она подобна всепожирающей проказе. Мир охвачен пожаром. С ужасом обнаруживаю, что должен признать правоту Ремизова, певца русской революции, который накануне войны писал о воображаемой высокой горе, поднявшись на которую он видит всю землю в огне...

Я священник; священник, с радостью исполняющий свое дело.

Но "sacerdos pro hominibus constituitur...": свя-

* "Амба" – название гор в форме усеченного конуса, типичных для эфиопского плоскогорья.

щенник поставлен для людей. Если человек живет в мирное время, он поставлен для человека мирного времени; если человек воюет, он поставлен для человека воюющего. Главное – не отдаляться от мира и, если нужно, выбираться из скорлупы домов причта и отправляться на поиски человека, на улицы, на площади, и даже в овраги, такие, как тот, куда, сбив в кровь ноги и руки, спускался Иисус, когда искал пропавшую овцу, – а ледяной ветер из долины бил Ему в лицо.

Военные сводки превозносят бешеный разгул материи. Лавины танков и стали атакуют землю со всех сторон: человек, опьяненный новой цивилизацией, топчет трупы и руины в упоении новыми завоеваниями и новой эрой...

Кажется (не об этом ли говорится на второй странице одной газеты от 27 апреля 1940 г.?), что Церковь слишком долго подавляла эту сокрушительную мощь человека.

Кажется, что небесные армады и земные броненосцы, выковывая новую историю человека, напевают что-то сочувственное тому бедному римскому Старцу*, который предсказывал, что война принесет гибель всему...

Вы слышали?

Льежские укрепления пали.

* Имеется в виду Папа Пий XI.

Сингапурский укрепленный район взят приступом...

Боже мой! Значит, наше место здесь?

Посреди этого скотского неистовства? Там, где все виды оружия и материя кричат, что тебя нет, поносят твоё имя, рвут в клочья твоё несносимое одеяние?

Моя комната в семинарии выходила во двор, полный цветущих лип. Сидя у окна, мы с однокашниками рассуждали о том, как нас будут рукополагать в священники, о необходимости дать миру что-то новое. Но что именно? Перед нами всегда вставала одна и та же проблема: проблема любви - та самая, которую разрешал, у нас на глазах, дон Орионе. Мы часто встречали его, когда он, валясь с ног от усталости, шел молиться у образа Богородицы св. Бернардино.

Теперь пришло время дел.

Разрывающиеся осколки, бомбовый ураган, окопы, залитые кровью. Капеллан, который учился с нами и участвовал в разговорах у того самого окна, сообщает из Греции, что, когда над его палаткой, набитой ранеными, кружил вражеский самолет, он почувствовал себя на алтаре: под бомбами, как ему показалось, он отслужил свою лучшую мессу...

Стало быть, теперь, когда все вокруг военные, буду военным и я, - повинуюсь заповеди апостола Павла о необходимости сделаться "всею для всех".

Я военный капеллан.

Как это случилось, не знаю...

Вот только с грустью вспоминаю о том доме на холме, где мои родители каждый вечер напрасно ждут хотя бы одного из четверых сыновей, ушедших на войну.

Если я военный, значит, и я начну новый путь, подобный тому, которым пошел Франциск, ринувшись на дороги зеленой Умбрии – на поиски своего брата-грешника.

Пройдя долгий путь под палящим солнцем, он набрел к вечеру на человека, распростертого в пыли: и глаза его, и рот, и уши были забиты землей...

– Что ты здесь делаешь, брат мой, весь в земле?

– Я потерял дорогу.

– Неправда, что ты потерял дорогу. Истина в том, что ты потерял Бога. Скажи вместе со мной: *Господь Мой и Бог Мой.*

И меж тем как бедняга повторял эти обжигающие слова, глаза его открывались, земля высыпалась, и он был готов продолжать путь.

Впервые надеть серо-зеленую форму – все равно что в первый раз спать под открытым небом.

Тебе кажется, что ты тонешь в этом серо-зеленом обмундировании и что ты остался один против целого мира, без всякой защиты.

Порывы ветра со всех сторон.

За пятнадцать лет черное одеяние будто сродняется с нами: оно становится *щитом ограждения,*

который столь действенно, по выражению апостола Павла, угашает раскаленные стрелы матери.

А форма?

Это мое новое одеяние, одеяние человека.

Мое священство словно погребено внутри меня; извне его можно различить лишь благодаря тому красному кресту, который я ношу на груди.

А этого, увы, слишком мало.

Глаза не знают, на что глядеть, руки – куда деться, ум – на чем остановиться. За несколько дней, мучительным усилием воли, охватываешь то, на что другие, коллеги и солдаты, потратили двадцать лет. А душа тем временем пытается уравновесить новое светское одеяние и сокровенное "я" священника.

За эти дни я взрослою: действенность моего служения во многом будет зависеть от того, насколько успешно мне удастся освоиться в новой обстановке, от того, каким образом я сумею уравновесить два моих естества.

Бывает, дрогну: напряжение становится слишком утомительным, и приходит сумасшедшее желание вернуться назад, вновь нырнуть в уютный покой семинаристского платья.

Но воля вновь зовет на передовую. Вот то место, где надо быть сейчас. Вот призыв мира, а значит, и Христа.

Но, может быть, этим все ограничится?

Нет, это только самое начало. Через несколько дней эта первая драма будет превзойдена: последуют другие, более тяжелые и кровавые.

Пока показался лишь внешний фасад дома моего брата; чтобы подойти к нему поближе, пужно войти и встретиться с ним; нужно поговорить с ним, услышать от него что-то сокровенное, идущее от сердца к сердцу.

Например, офицерская столовая может стать первым шагом на пути к такому общению.

У меня перед глазами еще стояла наша семинарская столовая: туда мы, молодые преподаватели, входили робко, хотя это был наш дом. А когда в разговоре затрагивались какие-нибудь слегка деликатные темы, ректор, заботясь о нас, немного понижал голос, чтобы не быть услышанным.

Здесь же лицо мира предстает во всей своей наготе. Первое впечатление такое, что я оказался во власти разбушевавшейся стихии.

“Нервы на место, мой мальчик; и — спокойствие.”

Именно здесь мой брат чувствует себя домашнему; да, может быть, он грешник, но это его пути, его привычки, его психология...”

Когда Г. заводит речь о какой-то главе из Ницше, где превозносится оргиастическая красота молодой природы, я чувствую, что готов взорваться; но мне удается вовремя сдержать

себя, и я спокойно спрашиваю, доводилось ли ему читать книги Иова и Исаии.

— В литературном отношении они, по крайней мере, не менее интересны, чем *«Так говорил Заратустра»*.

Я не люблю споров; апостол Павел советует своим друзьям избегать их. Но с этих пор, даже против моего желания, мне придется читать духовную литературу о некоторых страшных страницах зла и соприкоснуться с определенными слоями современной культуры и мысли, от которых иногда меня бросает в дрожь. В то же время, всегда, читая обо всем этом, я вижу между строк, сколь неотложно потребен миру Христос.

Некоторые открытия причиняют мне боль: те, например, которые наглядно убеждают меня, что мы, священнослужители, оставили без внимания слишком многое в нынешнем мире.

Другие помогают мне понять причины той драматичной отчужденности от Христа, которой поражено современное общество.

Я обнаруживаю нарушение исконного порядка в человеческой природе: способности ума и воли, поврежденные бурей чувств, более не согласуются с требованиями духа.

Современный человек словно задушил в себе голос души; а поскольку Бога можно увидеть только душой, нынешний человек Его больше не знает. Кинематограф, атмосфера чувственности,

удушающий ветер новейшей истории, который веял над столькими руинами, — все это пригнуло его к земле, как анемичный росток, который принакает к почве в поисках нового импульса к жизни.

Перед лицом этого опустошения естества, какую силу может иметь наша проповедь сверхъестественного? Не придется ли начинать все сначала, исцеляя природу человека в ее корнях, прежде чем пытаться что-то к ней привить?

Замечаю, что нужно пойти еще глубже.

Если бы речь шла об исцелении человеческими методами, тогда, может быть, хватило бы этого поверхностного диагноза. Но благодати Божией, обновляющей всего человека, угодно до последней глубины вспахать эту иссохшую человеческую почву.

Священник — работник виноградника. Он должен провести борозду и распахать ее, чтобы Господь затем бросил в нее семена.

Впрочем, это и очень человеческое дело.

Если общаешься со всем человеком, не только для того, чтобы познакомиться с ним, но и для того, чтобы разделить с ним его драму и его страдания, тогда он предстает в новом свете.

Именно в том уголке его души, где он показывается под маской, набитой землей и вымазанной кровью *ветхого человека*, различимо биение *нового человека*, ждущего воскресения.

Нет ничего прекраснее, в этом бедном современном человеке, чем жгучее ожидание спасения.

Это – внутренний отклик индивида на тот вопль об избавлении, который, кажется, рвется из сердца масс, жаждущих мира и Бога.

Но, выслушивая самые откровенные признания многих новых друзей, я замечаю, что мне непременно нужно было спуститься сюда, чтобы сказать слово понимания и утешения.

... Вчера вечером капитан Х. меня растрогал: он боялся, что причинил мне боль или наскучил рассказами о скорбных перипетиях своей жизни; но когда капитан благодарил за полученную поддержку, я искренне ответил, что, вполне возможно, он поддержал меня еще больше.

Но какие же бурные пути лежат перед нами, Господи!

По какой-то странной ассоциации мне в голову приходит мысль, что идеальный путь человека, живущего на войне, всегда сильно напоминает дорогу солдата в грязи (“... когда по грязи должен я шагать...”), или солдата на передовой, под огнем.

18) На этих путях, путях, которыми идет мир, война сейчас сжигает человеческие идола. Пылает костер, на котором сгорают жизни и вещи; и в отсветах этого костра ошеломленный человек ищет новую дорогу.

Вот: место священника – у этого пылающего костра, чтобы принимать в себя страдания всех, чтобы участвовать даже в их смерти; ему подобает!

там быть не только как человеку и гражданину, но и как священнослужителю, который и в средоточие бури приносит весть Христову.

Когда под разрывами снарядов человек чувствует трагическую бесплодность своего отрицания Бога, тогда священник, который разделяет с ним и страдание, и смерть, произносит с Христовой любовью слово прощения.

– Знаешь, это Господь посещает нас...

И его голос звучит хвалой Евангелию и призывом вернуться в дом Отчий.

Сегодня сильный ветер в скалах и на море. Рыбацкие баркасы торопятся к берегу. Приближается шторм.

Я рад, что это так: и природа принимает по-сильное участие в нашем тревожном ожидании.

Сегодня утром нам объявили, что мы отправляемся в Россию.

ИНТЕРМЕДИИ КОНЧИЛИСЬ

Наверху, на холме в пункте В., учебные стрельбы окончились.

Орудия и орудийные расчеты отбудут ближайшей ночью.

Слыша последние выстрелы, солдаты впадали в задумчивость и бормотали: "В следующий раз стрелять будем в русских. Что за люди, инте-

ресно, эти большевики?... А мы, вернемся домой?"

Потом самые веселые затягивали какую-нибудь воинственную песню, но, в унисон, голос внутри шептал: "До песен ли тут! Слишком далеко эта проклятая Россия, и кто знает, чем это все еще кончится?.."

Песня затухала; но никто не отваживался признаться другим почему.

И все-таки всем, при возвращении со стрельб, беспощадно думалось именно об этом, - под ритм шага, заданный лейтенантом.

Ать-два, ать-два...

Хотя бы по несколько часов все мои ребята провели дома, чтобы повидать родных в последний раз перед отправкой на фронт: отбываем через пару-тройку дней.

Теперь они возвращаются, и глаза их еще влажны от слез: они говорят со мной тихо, вполголоса, словно в церкви перед главным алтарем, и показывают мне медальоны - последние подарки на память от мам и невест.

Сегодня вечером, когда они легли, я проведать каждого, одного за другим.

Они, конечно, уже спали. Я попытался уловить в их дыхании отголоски того, что они пережили дома, - когда сестры пришивали пуговицу или мамы готовили толстые шерстяные носки и телогрейку.

Благословляю вас, дорогие ребятки, видя, как под маской раскованного безразличия вы таите дорогую память о сокровеннейших голосах своих далеких домов.

В этот час вы снитесь вашим мамам: последняя пришитая пуговица или эта промыслительная пара чистошерстяных носков, которые вам пригодятся, когда будет холоднее.

Я тоже растроган.

И вверяю Тебе, Боже мой, все тревоги трехсот тысяч мам, трехсот тысяч молодых людей, отбывающих на фронт, которые в этот великий канун говорят Тебе, как Иисус в саду: "Fiat voluntas tua..." "

— Что вы здесь в такое время, господин лейтенант?

— Ничего, мой милый, спи; просто по дороге в гостиницу зашел пожелать вам спокойной ночи. Но, как вижу, вам это уже не нужно. До свидания.

А мне-то самому заезжать или не заезжать домой в последний раз? Прилив тоски по дому бьет в сердце; и в глубине души я знаю, что было бы легче обойтись без этого, но, с другой стороны, поступить так было бы не совсем честно.

Итак, вперед, забегу в последний раз к моим старикам, которые, стоит ли говорить, уже давно заждались меня.

* "Да святится имя Твое" (лат.).

Отец, по вечерам, выходит на порог, смотрит на небо и говорит: "Вечером, наверно, он приедет".

— Откуда ты знаешь?

— Не могу сказать, просто чувствую что-то такое в воздухе...

Грустно то, что он чувствует что-то такое каждый день.

И каждый раз, когда надежды его не сбываются, он жалуется на мое неоправданное отсутствие.

Я обнаруживаю его на пороге и сегодня вечером; но, должно быть, он еще не успел сделать свое предсказание и потому узнал меня не сразу, при моем появлении в форме.

— Вы меня ждали? Я так и думал: поэтому и пришел. Не мог уехать, не повидавшись с вами.

Дом, друзья и даже сами родные кажутся мне не такими, как всегда.

Чужие люди глядят на меня с сочувствием: "Едет в Россию, с ума сошел, что ли?". Родные глядят на меня с упреком: "Неужели ты не мог пройти обследование у врача? С твоими-то болячками!.."

— Не беспокойтесь обо мне. Я буду писать вам каждый день, и скоро мы увидимся снова.

— К Рождеству-то будешь?

— Ну, не станем обольщаться. Рождество слишком близко; но мы, в самом деле, скоро опять увидимся; не сомневайтесь, увидимся!

Но, когда я произношу это в последний раз, голос у меня дрожит, слова замирают на губах: мне кажется слишком тяжким груз этого обещания — ведь отцу семьдесят, и мой опустевший дом такой старый...

Выхожу быстро.

Жаль, что сапоги так грохочут: не хочется, чтобы родные из-за этого плакали еще сильнее. Делаю вид, что не придаю значения их слезам, потому что, повторяю, ... не тот случай!

Но теперь для них начнется новое, такое долгое ожидание.

“Вот, Господи: *consummatum est!*”

Я теперь — как Исаак, сын Авраама; Ты можешь повести меня куда хочешь, в любое место, где, по Твоему замыслу, должна быть принесена жертва.

На улице еще ночь и ветрено.

Я прохожу родной землей, грезя о воздушных змеях своего детства, которые терялись в небе; во время грозы мне нравилось смотреть на то, как градины с яростью оббивают старые ветви дуба.

Сестра почти полностью снарядила меня в дорогу, так что перед отъездом осталась неистраченной немалая часть моего последнего месячного жалованья.

Мы устроим нечто похожее на семейный праздник, какой бывает на Пасху, и завершим его

* Совершилось (лат.).

общим ужином, все вместе, офицеры и солдаты. Расходы, разумеется, возьму на себя. Но всё должно быть по чину: утром — святая месса и общее причащение.

Служба получилась трогательнейшая.

Я сказал несколько подобающих слов; слова пришлось выбирать, потому что слишком легко в таких случаях вызвать слёзы. И я постарался копнуть поглубже, чтобы пробудить в сердцах отвагу и силу, тот настрой, какого требует момент.

— Будем проживать предстоящее нам испытание, исполнившись духом сильным и христианским. Примем свое будущее осознанно, как подобает людям, которые готовы на всё, но всё отдают на волю Божию — ради собственной души и ради судеб Италии.

Теперь интермедии кончились.

Посмотрим же мужественно в лицо своему завтра, всему тому, что вместят в себя отбытие, путь, военная жизнь.

Последние часы летят, сквозь ящики, тюки вагоны, грузовики, различные принадлежности и все другие сопутствующие материалы, которые кажутся нам густыми и непролазными, как джунгли.

— Где лейтенант Б.?

— На складе, тюки грузит.

— Где младший лейтенант Д.?

— На станции, следит за погрузкой.

— А капитан?

Капитана уже не найти; это хаос движущихся вещей, похожий на землетрясение, буквально погребло его под горами разнообразных материалов.

И так два дня. И это хорошо; потому что такая лихорадочная, беспрерывная, тяжкая работа смягчает самые пронзительные приступы тоски по дому.

5 июля, 20 часов, станция В.

Исступленная суматоха этих дней только что прекратилась. Теперь тротуары, платформы, сами пути забиты людьми, которые машут платками, цветами, флажками.

Последние прощания родных, несомненно, опасны. “Господа офицеры, эти слезы!..”

Солдаты, в полной боевой готовности, ждут сигнала к отбытию, как приказа об атаке.

Раздается команда “смирно”: ряды смыкаются с металлическим щелчком, а оркестр исполняет королевский марш. В последний раз оглядываю все вокруг: впервые, на какое-то мгновение, как мне кажется, я вижу лицо войны.

“Господи, Ты меня узнаёшь в этой каске и в этой серо-зеленой форме?”

МОЯ ЦЕРКОВЬ

Вот и вечер.

Как раз то время, когда с холма срывался последний удар колокола, растворяясь в долине при вознесении молитвы «Радуйся, Мария». Это же — время домашних доверительных разговоров при начинающихся сумерках; в этот же час, бывало, устав после рабочего дня, я заходил в свою Церковь помолиться.

Но, Боже мой, какой же была до сих пор моя Церковь?

Ты вложил в мое сердце беспокойство, которое мучило меня всю мою юность, и побудил меня искать Тебя там, где церковей не было. Где не было никого с молитвенно сложенными руками, никаких горящих свечей, и где громче билось сердце ночи.

А другие говорили мне: «Он не там».

Потому что многие шли другой тропой, но мне пока не удавалось найти Тебя на ней, Господи.

Итак, моя Церковь должна была стать идеальным местом свидания с миром: не зданием из кирпича, с колоннами и мраморной отделкой, а сооружением из клочков духа и кровотока душ, которые свидетельствуют о том, как неотложно Ты нужен миру.

Поэтому я бежал без остановок; поэтому мне не приходилось искать «человеческое». А за кус

ком хлеба, если уж я оставался без него, всегда мог зайти в свой старый дом...

В общем, моя Церковь состояла не из камней: это было место встречи на улице или в горах, в гостиной или в театре, на газетной полосе или в идущем поезде.

На мотив *тишины** мои солдаты поют *кальбельную в серо-зеленом.*

Капитан растроган. Никто не разговаривает. Едем в Россию.

Стало быть, я продолжаю священнодействовать в своей настоящей Церкви. И сейчас, когда всем так тяжело из-за слишком болезненных расставаний, пришло время вознести в этой Церкви *мессу*, и мы все совершаем ее в страдании.

Я преспокойно мог бы остаться на родине, в тишине дома причта или монастыря, и не подвергать себя такой встряске — не облачаться в серо-зеленое и не бросаться в военную жизнь.

Сложилось, однако, иначе: всё преодолено. Я здесь, затерянный среди солдат: без дома, без имени, без всего; без прав и без защиты, — потому что каждый человек на войне должен жить именно так.

Когда я носил облачение, все было традиционно священным во мне и вне меня; это подкреп-

* "Тишина" — название мелодии, которую в 22 часа играет трубач и которая сигнализирует об отбое.

лялось окружением, привычкой, кругом общения, родом занятий, Церковью.

А теперь ничего этого нет со мною. Я *такой же, как все*. Всё мое прошлое и всё мое настоящее кратко изложены и сосредоточены (становясь огненными) в красном кресте, который я ношу на груди.

Из остального — ничего.

Сегодня вечером я буду спать, локоть к локтю, с лейтенантом-управленцем. В дальнейшем мы будем меняться, по ошибке или из вежливости, каской или ботинками. (В пути я не смогу ни разу отслужить мессу, и из-за этого, неощутимо, еще глубже погружусь в жизнь всех.) Завтра утром все тот же ординарец принесет нам неизменную чашку разбавленного сгущенного молока; а мне все так же захочется зашвырнуть ее подальше. Потом будет обычное, долгое, нескончаемое стояние у окна, те же мысли, те же заботы, те же желанья, та же тоска по дому и родным.

Боже, где же во мне *священник*?

Как тяготит меня эта потеря индивидуальности!

Есть порыв веры, от которого щемит сердце, полнота религиозной жизни, которая расширяет меня изнутри и, не желая улетучиваться, заставляет меня мечтать о том дне, когда ее можно будет выпустить наружу.

Когда я буду служить мессу в степи, под аккомпанемент ветра и в сопровождении пушки, которая сыграет мне (ах, если бы это было возможно!) *Sanctus**? И смогу ли я проповедовать на дороге или на железной дороге и исповедовать за танком и говорить о Боге под стоны умирающих?

Тогда я построю свою Церковь; как и прежде — на жгучих тревогах удрученных душ и из красных камней раненых сердец. На этих камнях я поставлю Тебя, Господи; возможно, без стихаря, без епитрахили и без горящих свечей; но будет *стихарем, епитрахилью и горящими свечами* каждая мука нашей жизни, претерпеваемая ради Тебя.

Сейчас ночь, время сна, и мы устроили себе неплохое *лежбище*, заполнив пустое место между сиденьями купе несколькими набитыми тюками.

Лучшего и хотеть нельзя в нынешних условиях. При желании можно было бы поспать. Но сегодня ночью я предпочитаю от этого воздержаться: слишком о многом надо подумать.

Две недели на поезде — не шутка; мы проехали через всю Европу, и именно через те места, по которым вихрь трагедии прошелся с особой силой. Получили общее, пусть очень поверхностное, представление об этом сложном

* Начало евхаристической молитвы "Свят, свят, свят Господь Саваоф" (лат.).

европейском мире: Австрия, Германия, Польша и Россия...

Это похоже на забег в поисках чего-то, что скрывается за пушками или под развалинами. Мы пытаемся понять, осталось ли еще под этим разрушительным обвалом что-нибудь живое и здоровое: если душа века борется за справедливость, то не выказывает ли она себя, уже поэтому, как нечто несправедливое в самой своей основе?

Чего можно добиться силой оружия?

Справедливость, по существу, есть основа полагающее равновесие духа; но сталь не затрагивает духа, и значит, она ни к чему. Многие люди тщетно будут убивать друг друга из-за ложного идеала справедливости.

Какие страшные проявления зла! Как бьет холодная дрожь! Почему лик зла так ужасающ?

Конечно, лучшая Европа не такова.

Наша победа была бы обманчивой. Но в значительно большей мере было бы обманчивым наше поражение; потому что триумфаторам могло бы показаться, что они победили Европу, между тем как истинная Европа еще не пробудилась.

Она ждет своего часа в музеях и церквях, в библиотеках и в великих памятниках искусства. И еще — в сердцах самых простых людей, где тоже отложились слои новой материалистической псевдоцивилизации.

Где же дух?

Меня страшит эта пустота, которую я замечаю вокруг себя. Теперь я по себе знаю, какую муку испытывал Йёста Берлинг*, тоскуя в бесплодных песках пустыни по водам своего горного озера.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

В Италии мало кто обращает внимание на наше продвижение по стране.

В Бренnero в последний раз салютуем итальянскому стягу: все растроганы. Я молю Господа, чтобы Он благословил нас и позволил нам вернуться.

Тироль прекрасен.

Зелень лугов и гор поглощает наше внимание, отвлекая от тяжелых мыслей.

Простые, необтесанные кресты в долинах и на лугах; двери домов украшены оленьими головами.

Завидев нас, люди сердечно машут вслед поезду.

Но после Мюнхена, проехав Баварию, все мы замечаем, как люди, в соответствии со своим нордическим нравом, становятся жестче и даже в приветствиях — неспешнее и холоднее.

* Герой романа «Сага о Йёсте Берлинге» (1891) Сельмы Лагерлёф.

— Смотрите: в Италии если кто машет, то уж так, что того и гляди рука оторвется; а тут кончики-ми пальцев едва шевелят.

Стайки детей вдоль железной дороги: просят сигареты.

Наши солдаты, само собой, раздают их с необычайной щедростью; правда, потом, оставаясь без курева, компенсируют потери у капеллана.

В Аугусте капитан М., лейтенант Б., лейтенант Д. и я сходимся па том, что полное отсутствие свободы во время стоянок на станциях вызывает у всех нас чувство возмущения и протеста; обещают друг другу, что при первой же возможности вырвемся на открытый воздух.

Тем временем Б. будто пробудился от тяжелого сна.

В открытке, которую ему удалось отдать кому-то в эшелоне, идущем в Италию, он пишет: "Война — штука неудобная: нас запаковали в этом поезде как зашитые тюки. Станция назначения? Неизвестна; да поможет нам Господь".

Вот поезд с итальянскими рабочими, которые возвращаются с работы. Они устали до изнеможения, тоскуют по дому.

Стоя под нашим вагоном, немецкий железнодорожник горячо втолковывает что-то лейтенанту Б., а тот в ответ только повторяет, к месту и не к месту: «ja, jawohl»; все солдаты, которые это слышат, умирают от хохота и хлопают в ладоши.

Немец злится, потому что не понимает, отчего все так веселятся; а вот лейтенант Б. рад-радешепек этой встрече: об одном он жалеет — что забыл время от времени вставлять «*nein*», которое у него, как он утверждает, замечательно получается.

Ничего страшного; в другой раз.

Каптенармус ведет дневник.

Сержанты ведут дневники.

Лейтенант Б. ведет дневник.

— А вы, господин капитан, тоже?..

Нет; он каждый день пишет домой и в подробностях рассказывает жене обо всем и обо всех.

Каптенармус сегодня вечером записал, что любой кусочек Италии стоит тысячи Германий.

А сержанты о своем: “Моральный дух по-прежнему высок. На третий день пути пение хором слаженное, но Чеккини почему-то петь стало не вмоготу; притворяется больным, а я-то вижу — грусть его точит”.

Лейтенант Б. говорит: “Значит, едем в Россию! Потом, как окажемся там, запрут нас в госпитале и скажут: давайте устроим состязание — вы будете чинить ноги, а мы — ломать. Пока, пожалуй, и нам их не переломают, и тогда в газетах напишут: *Сливную смерть принял на берегах Дона лейтенант Н.Н., доброволец, и т.д. и т.п.*; и во всем этом не будет ни капли правды”.

Город Галле вплоть для сегодняшнего дня для нас вообще не существовал.

А теперь вот мы знаем его как свои пять пальцев, лучше, чем поля, куда убежали в юности на поиски птиц, без разрешения родителей.

Это внезапное и стремительное накопление знаний произошло так. Прибыв в Галле, капитан и все офицеры подразделения решили, что настало время выразить протест против распоряжений о строгом затворе, отданных германским командованием.

“Вот Галле: сколько будем здесь стоять?”

Никому это точно не известно. Кто говорит двадцать минут, кто — час, кто — полдня.

А тут еще перед нами открывается неохраняемый проход: мы в двух шагах от центра города.

Б. смотрит и смеется, Д. смотрит и машет рукой, я смотрю и говорю: “Может, попробуем?”

Капитан и другие спрыгивают на землю, мы — за ними. Мы похожи на группу беглецов.

— Что будем делать?

Перед нами трамвай, который вот-вот тронется. Как нельзя кстати.

“*Dem Centrumstadt*”.

Первое приключение: мы сообщаем кондуктору, что не станем платить за билет, потому что не успели поменять деньги.

Первым делом, выйдя из трамвая, надо зайти в банк.

* «Центр города» (нем.).

Вторая забота – посетить магазины. Всё пугающе обыденно.

Вот пивная; заходим: разве можно быть в Германии и не выпить пива?

Капитан, который в равной степени знает Германию и пиво, говорит: "Нет, это не то: грязная вода, а не пиво".

Но мы не в обиде.

Во время этих скоропалительных заходов люди внимательно и подолгу на нас смотрят. Я начинаю замечать, что мы здесь неуместны, но пока ограничиваюсь одним предположением: прогулка наша может иметь ошеломительное завершение, если поезд отойдет *insalutato hospite**.

Вижу, что мои слова вызвали некоторое волнение.

Теперь капитан озабочен: он делает вид, будто что-то еще ему здесь интересно, но ноги уже сами несут его в обратном направлении.

— У меня такое ощущение, - говорит Б., - что этот побег имеет шанс закончиться в темпе *andante troppo mosso*.

Капитану Б. даже кажется, что, если прислушаться, слышны свистки паровоза.

— Ну, не будем сгущать краски, — призывает кто-то.

Но тем временем с шага мы переходим на бег.

* Не попрощавшись с хозяевами (лат.).

Какое там стужение красок: метрах в пятистах от нас действительно раздается нервный зов хорошо знакомого гудка, который доносится оттуда, где берет начало бульвар, ведущий в город.

Andante mosso переходит в стремительное, отчаянное *fugato*.

Ну вот, поезд трогается; делать нечего. Мы продолжаем бежать, подчиняясь запоздало проснувшемуся элементарному чувству долга, но надежд на успех у нас мало.

Я представляю себе, как сержанты высовываются по пояс из окон с криком: "Офицеров нет ни одного!"

Командир эшелона, наверно, клокочет в своем вагоне и уже обдумывает слова, которыми начнет рапорт начальству.

А полковник, со своим неизменным хлыстиком из бычьего сухожилия, конечно, ходит взад вперед по коридору, буравя взглядом стены.

Капитан Б. уже внизу лестницы, ведущей к запасным путям; вижу издали, что он не только не замедляет бег, а несется изо всех сил, все быстрее.

"Хоть бы один успел!.."

Мы тоже сбегает по ступенькам. Я сокращаю шаг, чтобы держаться ближе к начальнику госпиталя: он устал больше всех, и я в случае чего останусь с ним.

Вот мы уже на перроне, под навесом.

Всё внутри нас голосит: "Хватит, больше не можем!" Но вокруг совсем другие возгласы; дежурные офицеры, люди из вспомогательных служб надрываются: "Вперед, бегите, бегите..."

Похоже на озвучание фильма, где мы играем бегунов, оспаривающих победу на стадионе. Все топчут, бьют в ладоши и кричат: *давай! давай!* Такой звуковой фон мне совсем не по душе.

Успеваем кинуть на "зрителей" взгляд, исполненный бесконечной жалости, и продолжаем свою погоню. И вот наконец, с надсаженной грудью, запыхавшиеся, вцепляемся в последний вагон поезда, который тем временем заметно сбавил ход.

Мы похожи на чемпионов по бегу на последней, берлинской, Олимпиаде. Валимся, как бурдюки, на площадку вагона командующего: мы почти без сознания. Но это большая удача, потому что так мы не слышим ругани полковника, изливающего на нас накопившуюся ярость. Должно быть, он говорит что-то уж очень неприятное, если даже в таком жалком виде, лежа без сил на полу, время от времени мы вздрагиваем; и, независимо от того, насколько справедливы его слова, каждый из нас, безусловно, клянется самому себе, что таких прогулок он больше не допустит.

Первым приходит в себя лейтенант Б., который, заговорщически подмигивая, говорит начальнику столовой: "М.! Смыть позор может одно: торжественное приглашение па обед, да не простой, а

из тех, что у нас в части умеют устраивать только в самые исторические моменты”.

Капитан не отвечает; но все мы твердо знаем, что приглашение на обед последует; и полковник, благодаря щедрости начальника столовой перед уходом еще воскликнет: “...Все бывает на свете! Чего уж там, не тот это случай, чтобы придраться...”

СТРАДАНИЯ НАРОДА

Теперь и у лейтенанта Б. чувства юмора как будто поубавилось.

При виде первых военнопленных, работающих на станциях в Верхней Силезии, мы возвращаемся к реальности, о которой нам помогла забыть эйфория первых дней пути.

К тому же сегодня, на пятый день, что мы в поезде, въезжаем в Польшу. Нас окружает водная холодности: люди ходят туда-сюда, не удостаивая нас даже взглядом. Кажется, всем надо свести с нами какие-то давние счета.

Только веренице детей нет конца; все больше просьб о хлебе и сигаретах.

Сильное впечатление — просыпаешься утром на одной из этих пустынных станций, и видишь вокруг тучи плохо одетых детишек, которые задунывно, жалостно и настойчиво просят еды.

Во всём чувствуется некий тайный план — в людях, в вещах и даже в небесах. То ли тоскливая, то ли суровая — не разобрать — атмосфера служит фоном этой картине, на которой двигаются те немногие, кому удалось пережить великую трагедию.

Женщины проходят мимо нас, не оборачиваясь; все мужчины куда-то бегут, словно кто-то или что-то зовет их вдаль.

Бедная Польша! Земля великих страстей и возвышенного героизма, периодически обрекаемая на страшные кровопускания. Сколько славных подвигов видели эти дороги, эти луга, эти леса! Такое множество поколений не может быть принесено в жертву напрасно.

Помню, с каким восторгом читали мы в первых классах гимназии "Жнецов смерти"; помню и многочисленные *de profundis*^{*}, которые возносились тогда то в одной, то в другой школе об этих людях, одетых в белое, погибающих на снегу в попытке подставить свою грудь, как надежный бастион, под варварские валы, идущие с Севера.

Польша не умерла.

Она еще живет под развалинами своих разрушенных зданий, в душе своих безликих людей, в тени своих покинутых костелов.

* "Из глубины" (лат.) — название по первым словам покаянного псалма (130), который поется при отпевании по католическому обряду.

из тех, что у нас в части умеют устраивать только в самые исторические моменты”.

Капитан не отвечает; но все мы твердо знаем, что приглашение на обед последует; и полковник, благодаря щедрости начальника столовой, перед уходом еще воскликнет: “...Все бывает на свете! Чего уж там, не тот это случай, чтобы притираться...”

СТРАДАНИЯ НАРОДА

Теперь и у лейтенанта Б. чувства юмора как будто побавилось.

При виде первых военнопленных, работающих на станциях в Верхней Силезии, мы возвращаемся к реальности, о которой нам помогла забыть эйфория первых дней пути.

К тому же сегодня, на пятый день, что мы в поезде, въезжаем в Польшу. Нас окружает волна холодности: люди ходят туда-сюда, не удостоивая нас даже взглядом. Кажется, всем надо свести с нами какие-то давние счеты.

Только веренице детей нет конца; все больше просьб о хлебе и сигаретах.

Сильное впечатление — просыпаясь утром на одной из этих пустынных станций, и видишь вокруг тучи плохо одетых детишек, которые заурывно, жалостно и настойчиво просят еды.

Во всём чувствуется некий тайный план — в людях, в вещах и даже в небесах. То ли тоскливая, то ли суровая — не разобрать — атмосфера служит фоном этой картины, на которой двигаются те немногие, кому удалось пережить великую трагедию.

Женщины проходят мимо нас, не оборачиваясь; все мужчины куда-то бегут, словно кто-то или что-то зовет их вдаль.

Бедная Польша! Земля великих страстей и возвышенного героизма, периодически обрекаемая на страшные кровопускания. Сколько славных подвигов видели эти дороги, эти луга, эти леса! Такое множество поколений не может быть принесено в жертву напрасно.

Помню, с каким восторгом читали мы в первых классах гимназии "Жнецов смерти"; помню и многочисленные *de profundis*^{*}, которые возносились тогда то в одной, то в другой школе об этих людях, одетых в белое, погибающих на снегу в попытке подставить свою грудь, как надежный бастион, под варварские валы, идущие с Севера.

Польша не умерла.

Она еще живет под развалинами своих разрушенных зданий, в душе своих безликих людей, в тени своих покинутых костелов.

* "Из глубины" (лат.) — название по первым словам покаянного псалма (130), который поется при отпевании по католическому обряду.

Над разбомбленной Варшавой еще стоит дым. Кто-то тревожно глядится в горизонт и задается этим вопросом. Еще видны кровоточащие стигматы общего разорения: мосты, здания, железно-подорожные пути предстают перед нами в том виде, какой им придала война.

Мы останавливаемся на четыре часа под необъятным железным навесом вокзала и глядим на Варшаву сквозь разрозненные опоры мостов. Отсюда нам открывается закат.

Печальный закат над Вислой!

Печальные воды, печальные дома, печальные люди. Робкие лучи умирающего солнца, вы — символ последних мук истории, которая не хочет кончаться: это история не одного народа, а всего страдающего человечества.

А эти люди, бегущие домой, потому что настает комендантский час, олицетворяют собой всех людей, истерзанных войной, которые ищут у своих очагов немногочисленные ценности жизни пока еще не уничтоженные насилием.

Начиная с Варшавы, каждая стоянка — это остановка на крестном пути, по которому человечество влечит свой крест.

Вот мы перед страшной тайной евреев.

Людей бездомных, потому что немцы лишили их крова.

Людей без имени, потому что отличает их теперь только регистрационный номер.

Без души, потому что с ними обращаются, как с вьючным скотом. Без лица, потому что вместо лица у них пресловутая *желтая звезда*, которую они носят на груди.

Вот они бредут и, кажется, ничего не видят перед собой, ибо перед глазами у них неотступно стоят какие-то страшные картины.

Может быть, всего несколько дней назад рассеялись их семьи; или они предчувствуют, что совсем скоро на них обрушатся новые бури?

Они ничего не знают. Одно им известно: что жизнь их, простая человеческая жизнь, кончена. Но конец придет только после того, как из них вытянут все физические силы, или раньше — в виде несчастного случая на работе.

Мужчины, женщины и дети, как животные, скучены в вагонах, в которых их возят на работу. Многие, лишь бы не задохнуться взаперти, цепляются за скобы, за засовы вагонов.

Вот кто-то падает: это мальчик лет двенадцати. Никому до этого нет дела; момент, когда его сбивает поезд, видит девочка чуть постарше. Может быть, сестра; она хватается за голову от отчаяния, пытается выброситься, но другие удерживают ее и заталкивают вглубь теплушки.

Трагедия окончена!

У моих офицеров глаза мокрые от слез; думаю, никто сегодня ночью не спал.

И нынче с самого утра еврейские мальчишки и девочки начинают свою обычную работу у поездов.

Под присмотром нескольких солдат они постоянно кружат у вагонов, бродят вдоль путей, по насыпям, собирая мусор. Ходят по два в ряд, с кошелкой на шее, пока она не наполнится; потом на какой-то миг отлучаются, чтобы высыпать подбранное. Но тут же появляются вновь, не зная усталости.

Некоторые подходят к нам: они заметили, что мы следим за ними с жалостью.

— Сколько пфеннингов получаете?

— Ох, мало; хватает только на горсть картошки, тем и кормимся.

— А если кто заболест?

— Бог весть...

Вот девушка благородной внешности ищет среди отбросов апельсиновую кожуру, а потом, когда никто не видит, с жадностью ее съедает.

Б., увидев ее, подходит; но девушка не расположена к общению. Впрочем, негодующий взгляд смягчается при виде нашего подарка — краюхи хлеба, и, поправив волосы рукой, еще вымазанной в грязи, она говорит: "Спасибо".

Потом она соглашается ответить на несколько вопросов: судя по всему, перед нами — последняя представительница богатой польской семьи.

— У вас есть братья, сестры? Родители?

— Да.

— Где они?

— Умерли.

И глаза ее, распухшие от слез, устремляются в землю.

Б. хотел бы продолжить разговор, узнать подробности. Но я его останавливаю: “Будем уважать эту тайну!”

Думаю, что зло в мире в чем-то подобно со-
блазну: его присутствие необходимо.

Но горе тем, кто повинен в таком разгуле зла!

ВОЗДУХ РОССИИ

Не знаю, почему при пересечении границы между странами всегда возникает некое незамысловатое, сокровенное волнение — словно прикасаешься к пределам чего-то священного.

Может быть, это живой след Термина, древнего бога полевых межей, или, что вероятнее, чувственная эманация великой идеи Родины, которую ощущает и к которой подсознательно стремится человеческий дух.

Брест-Литовск, кажется, и сегодня рассказывает о восьми корпусах армии Макензена, которые, с помощью Ленина, отправленного на родину в plombированном вагоне, развалили великую царскую Россию. Но, главное, Брест-Литовск рас-

сказывает нам, причем во весь голос, о том, что было здесь всего несколько месяцев назад — о первом страшном столкновении немецких и русских бронетанковых войск.

Рядом с городом расположилось кладбище танков: они покоятся там, уткнувшись мордой в землю, и кажется, что еще не стих испускаемый ими отчаянный вопль бессилия перед превосходящей силой.

Поле боя мы видим впервые. Огромные машины, помеченные исполинскими красными звездами и номерами: красная звезда 120, красная звезда 280, красная звезда 133 и т.д.

Земля, развороченная снарядами и машинами, — один сплошной нарыв. Здесь противоборствующие стороны сошлись в ужасающем столкновении, боролись друг с другом в мучительном напряжении всех сил, как Урс и бык в Колизее.

Кто же одолевает, человек или зверь?

И кто из них действительно зверь? А кто вполне человек?

Эти немцы начинают действовать нам на нервы.

Несколько деревянных крестов с касками — немецкие могилы.

Станцию обезобразили бомбардировки с воздуха и артиллерийские удары. Железнодорожная колея в России шире, чем в Европе, но про-

ворные немцы уже приспособили ее к нашим нуждам.

На путях, почти с той же скоростью, с какой продвигается удивительное германское наступление, бригады из знаменитой *Organisation Todt*, объединяющие многие тысячи людей, готовят условия для беспрепятственного проезда нескончаемых верениц поездов, которые доставляют на войну лавины материалов и людей.

Мы стоим уже пару часов.

Берем особо крупные запасы воды, потому что ни на ближайших станциях, ни во всей Белоруссии питьевой воды не найти.

Первые концлагеря, все чаще мелькающие за окном евреи за работой, тяжелая и гнетуще тихая атмосфера навевают печаль.

Сразу же за Брестом мы сталкиваемся с русской землей. По некоторым особенностям ландшафта, по первым недвусмысленным признакам русского владычества, мы понимаем, что начинается наше знакомство с большевизмом.

Железная дорога окаймлена посадками из низкоствольных сосен, которые, выполняя орнаментальные задачи, призваны также защитить пути от снежных заносов. Через каждые сто метров нам встречаются бетонные столбы, опоясанные клумбами с красной звездой.

Пения в поезде больше не слышно. Все погружены в раздумье.

Холодный воздух, ранние и росистые зоры, небо цвета хаки с однообразными, безмолвными, необозримыми горизонтами.

И равнина подобна небу: окраска нейтральная, конца и края не видно, тишина могильная. Время от времени возникает на горизонте мельница: она устало ворочает крыльями, которые похожи на грустные дремлющие тени, на исполинские руки, воздетые к небу в мольбе о помощи.

Я один у окна: после безуспешной попытки спеть *солдатскую колыбельную* в качестве вечерней молитвы все заснуло.

Теперь и я произнесу свои вечерние молитвы.

Мне нравится возносить их вот так, вдыхая упругий ледяной воздух этих равнин, исполненных тайны, где всего несколько дней назад бушевала война: "Боже мой, Ты — Владыка ночи и дня, войны и мира, добрых и злых. Зрелище распоясавшейся ненависти начинает тяготить нас. Я вспоминаю со слезами на глазах семинарскую келью, в которой, в такие же весенние дни, царили тишина и аромат цветущей липы. А здесь — трагическое безмолвие ночи и зла. Я не воин; но я следую за бойцами как напутствие мира на войне, напутствие достои — в скорби, напутствие жизни перед лицом смерти".

Между Столбцами и Негорелым пересекаем старую российско-польскую границу.

После Негорелого по дороге к Минску нам придется проезжать через обширнейший лес, простирающийся на сто с лишним километров.

Ничего привлекательного, а опасности — хоть отбавляй: этот лес еще наводнен нерегулярными войсками и партизанами.

В каждом вагоне и в паровозе несут охрану вооруженные часовые. Здесь было уже немало чрезвычайных происшествий. Эшелон, прошедший перед нами, подвергся ночной атаке, были убитые и раненые.

Нам тоже предстоит проезжать по этим местам ночью, и на лицах без труда можно прочесть тревожные чувства. Естественно, все изображают спокойствие, делают вид, что не слишком близко принимают все это к сердцу; но когда приходит приказ спать не раздеваясь и держать оружие у ног, многие вообще отказываются от отдыха и предпочитают, пребывая в полной боевой готовности, занять самые... стратегически выгодные позиции.

Кто-то говорит: “Эта вагонная стенка против винтовочного выстрела — что картонка”.

А ночные часы они коротают в приятных беседах о том, насколько долго и успешно можно оборонять поезд, подвергшийся вероломному нападению партизан.

Мы въехали в лес.

Километров через двадцать ракета прорезает небо.

Сердце бьется сильно; хотелось бы закричать, но каждый забивается внутрь себя с тайной молитвой: "Господи, пронеси!"

Никаких происшествий.

Ракету, несомненно, выпустили партизаны, но непонятно, с какой целью. Неудавшийся маневр? Или прерванная атака?

Немцы прибегают к очень оригинальному методу защиты. Вдоль железной дороги, на всем протяжении леса, они расположили цепью часовых, набранных из местного гражданского населения. Каждую семью обязали выделить на эти нужды одного человека, мужчину или женщину — безразлично. И вот их-то и расставляют на пути через каждые двести метров. Они несут эту службу днем и ночью, летом и зимой. И если на охраняемом ими участке что-то случается, они подвергаются жесточайшим наказаниям, по подозрению в соучастии. Репрессии могут обрушиться также на членов их семей и родственников.

Это мужчины и женщины, старики и дети — по большей части люди, непригодные к труду; они стоят на своих местах, запахнувшись в характерные стеганые тулупчики, или лежат, свернувшись калачиком, в ямах у разожженных костров.

У каждого лица, должно быть, своя история, у каждого человека — своя драма. С особым интересом мы глядим на печальных бородатых стариков почтенного вида, которые кажутся осколками рухнувшего мира.

Поезда прибывающие, поезда отходящие, мельканье перемешавшихся людей, машин, работников и солдат.

Скромные постройки: характерное восточноевропейское барокко малочисленных каменных зданий и лачуги, лачуги, с виду неудобные и неуютные.

Мне бьет по нервам хриплый крик птичьих стай, которые отныне и до конца нашей жизни в России будут с нами неразлучны.

Похоже на воронье карканье, только пронзительнее и грустнее. Солдаты печально терпят их, как неизбежное зло, и, глядя на них, проговаривают особые слова, отводящие порчу: вдруг эти птицы — дурное предзнаменование.

Во время долгих стоянок мы можем позволить себе роскошь прогуляться.

Лейтенант Б., как начальник столовой, отправляется на поиски съестных припасов: предлагают несколько яиц, бапочки с клубникой, связки лука и изредка что-нибудь еще.

Взамен просят хлеб, мыло, одежду и все что угодно.

Нищета этих людей ужасает; и чем ближе мы к центру России, тем страшнее бедность.

Ватаги детей душат нас криком: "Пан, дай!"

Что это значит?

Впервые мы встречаемся с русским языком.

Дальше, ближе к Украине, на смену этому буржуазному обращению *пан* (*господин*) придет революционное *камерад* – товарищ.

Большевизм, вероятно, пока не оказал заметного организационного влияния на здешнюю жизнь. Если исключить рутинную эксплуатацию народа, в частности, — рекрутский набор людей на большие коллективные работы, большевистская власть, очевидно, не слишком беспокоит местное население, которое до войны продолжало жить в традиционной нищете, усугубившейся и распространившейся шире только из-за вынужденного отъезда самых работающих и умелых.

Я нахожу православного священника, который вернулся в Гомель, во всем великолепии своего облачения, после прихода немцев; подхожу к нему и спрашиваю по-немецки и по-французски, где он служит и в чем состоит его служение, но нам не удается понять друг друга. Он говорит только по-русски.

В Бобруйске совершается первая на русской земле Евхаристия для людей из эшелона. На насыпи у путей мои добровольные помощники

ки приготовили маленький алтарь; на сей раз — без цветов, в строгом военном стиле.

Это духовная передышка, к которой все стремились. За какие-то несколько дней мы увидели и почувствовали слишком многое. Мы удалились от самих себя настолько же, насколько стали дальше от своих домов и родных.

Но куда, куда нас везут?

Пыхтящие паровозы, приезжающие с юга, на которых еще не высохла вода от дождя, встреченного по дороге (интересно, где?), составы с пленными, с остовами аэропланов, с пустыми гильзами...

Что там, дальше?

И, главное, что нас там ждет?

А эти страшные станции, где в воздухе стоит вороний грай, где, не зная отдыха, работают евреи, где никогда нет воды — суждено ли нам вновь проезжать их, на обратном пути?

Как прекрасно звучит здесь «Аве Мария» — сквозь свистки поездов, рядом с пленными, которые в изумлении глядят в нашу сторону, посреди русских, павших ниц, плачущих.

Солдаты замечают, что их частная молитва в этих обстоятельствах становится обрядом, символом, знаменем.

А я, служба мессу, слышу, как они произносят молитвы «Аве Мария», «Отче наш» — с чувством и строго, словно печатают шаг на параде.

"Dominus vobiscum".

Да пребудет с вами Господь, дорогие мои ребята: в этот миг, может быть, впервые в жизни, вы вкушасте величие и красоту своей веры и чувствуете гордость за нее.

Да пребудет с вами Господь; четки, которые до вчерашнего дня вы прятали в кармане как талисман, сегодня стали для вас оружием, которое вы сжимаете в руках и подносите к сердцу, замечая, что этот жест вызывает слезы у стоящих рядом людей: они не понимают вашего языка, но чувствуют вашу веру.

После мессы у всех красные глаза. Но особенно растроганы русские женщины и старики: они смотрят на нас в полузабытьи, а когда мы проходим мимо, осеняют себя крестным знамением.

ВОЕННЫЕ МОТИВЫ

Все те же дороги, те же поля и леса, то же солнце, бьющее в окна уже с трех утра.

Время от времени попадаются останки машин, обгоревшие и перевернутые локомотивы и вагоны в канавах, разрушенные станции и военные погосты, усеянные крестами и сраженными на смерть танками и грузовиками.

Каждый из них, конечно, мог бы рассказать свою особенную историю, приключившуюся с ним,

* "Господь с вами" (лат.).

возможно, всего несколько месяцев назад. Кажется, что моторы этих монстров с мордами, уткнувшимися в землю, еще горячие и что из башни только что выбрался солдат, чтобы убежать в поля.

Но по полям бегут все: за исключением людей, которые просят хлеба, на этих необозримых равнинах никто не стоит на месте. Это похоже на особый мир людей и вещей, втянутых в вихреобразное движение. Домов крайне мало, и они очень далеко отстоят друг от друга. Куда же направляются своим легким шагом эти молчаливые, необщительные люди с покрытой головой?

Некоторые — на лошадях: мальчишки, которые скачут во весь опор по неразличимым тропам.

— Как думаешь, Б., это и есть партизаны?

В Прилуках — долгая стоянка.

Нам уже до смерти надоели эти нескончаемые стоянки на запасных путях. И ничто больше не в силах рассеять тоску, которая охватывает нас во время этих неожиданных стоянок в самых немыслимых местах. Все мы находимся в нервном напряжении, которое никак не желает спадать.

Из-за чего эти перебои в нашем продвижении?

Они продлевают пытку неопределенностью. Если уж мы пустились в путь, надо ехать, пока не доберемся до цели!

Путешествие в несколько тысяч километров, на поезде, — не самая привлекательная штука на

свете. Этот запах закупоренного помещения, эти засовы, которые держат нас в плотно сбитой куче посреди бесконечного пространства, это стренное движение души, приготовившейся к одному из самых опасных приключений, эта невозможность что бы то ни было увидеть на подступах к миру, который уже возвещает о себе бесчисленными голосами, а главное — это отношение к нам как к упакованным тюкам и к перемещаемому грузу — все это нам решительно не по душе.

Сколько в нас горечи и печали!

Домой писать нельзя; о получении почты и речи быть не может: все напоминает нам о суровых законах войны.

“Боже мой, — думают мои солдаты, — кто же спасет нас посреди этого беспорядочного нагромождения вещей, где властвуют насилие и ненависть?”

Или: “Что мы такое, на фоне этих тысяч поездов, рядом с этими нескончаемыми потоками танков и прочей техники?”

Или еще так: “Какая разница, Господи, между нами и этими несчастными, которые попали в плен и которых держат, как скот, в запертых товарных вагонах?”

Дорогой мой итальянский солдат!

Никогда не испытывал я к тебе такой любви, как теперь, когда вижу тебя на чужой земле, опечаленного не столько разлукой со своей матерью, оставшейся в одиночестве, сколько безмолвно скор-

бью других матерей и других солдат, которые страдают, быть может, несправедливо.

Недоступное пониманию многих великих людей ты начертал на скрижалях своей совести: в бою по ее велению ты можешь сражаться, не жалея собственной жизни, но она же дарует тебе уважение к другим, смягчающее даже самые суровые законы войны.

Ты слышал горестные истории о массовых побоищах; сам наблюдал душераздирающие сцены. Не допытывайся, как и отчего: утешайся тем, что твой народ не таков.

Это — великодушие, достойное чистейшей итальянской традиции, ибо оно идет от самой сути римского и христианского духа.

“Вы правы, господин лейтенант”.

Но вообще-то, если подумать, что и мы находимся посреди этого разгула жестокости...

“Это наш самый весомый вклад в войну. Забудьте также, что это высокое духовное достояние сильнее всякой угрозы и всякой обороны”.

Произошло первое дорожное ЧП. Между офицерами разгорелся спор о том, насколько серьезен этот случай.

Я равно восхищаюсь сочувственной добротой, выказываемой одними, и твердым стремлением к дисциплине, проявляемым другими.

Мое мнение таково, что нужно держаться тактики доброты до конца: “Я уверен, что Х. еще

присоединится к нам. Да и потом, какая разница между приключением в Прилуках и эскападой в Галле?"

Х. родился на Сардинии, и, подобно всякому настоящему островитянину, он до смерти привязан к своим землякам.

— Все эти дела с земляками, — кричит капитан, — мне уже давно действуют на нервы...

Вчера вечером, перед отбытием поезда, Х. не отозвался на перекличке как раз потому, что пошел навестить земляка с другого эшелона, остановившегося на той же станции.

В таких обстоятельствах положено подавать рапорт в вышестоящие компетентные органы, которые дают ход делу. Не сделав этого, командир части рискует понести суровое наказание.

Но все мы едины: надо отложить составление рапорта до последнего дозволенного срока.

Для меня эта история болезненна вдвойне: не только из-за самого факта его отсутствия, но и потому, что он всегда был самым робким и впечатлительным во всей нашей части. Он был знаменит своими *страхами*, которыми, по возвращении в казарму, заражал Б., мучившегося потом... ночными партизанскими налетами: после таких "припадков" Б. целую неделю ходил сам не свой.

"Господи, здесь, в нашей части, я им как мать, ведь все родственники поручили их мне. Я заверял брата отставшего парня, что все мы тут —

как одна семья, и убеждал его не бояться за Джованни. Но если бы он знал про эту его проделку!..”

Чего мы только не повидали, не почувствовали за время этого путешествия! Стоянки в лесах, на безлюдных равнинах, на берегах рек, близ городов...

Заранее отданных приказов как будто не существует: все подчинено этому нескончаемому, мучительному движению поездов на восток.

По железным дорогам, которые ведут вглубь России, к фронту, одновременно следуют сотни и сотни эшелонов. На свободных участках они должны развивать наивысшую скорость, из-за чего, правда, потом на станциях создаются ужасающие пробки. Но это ничего не значит. Времени все равно никто не теряет.

Каждое передвижение просчитано: по минутам расписан путь каждого поезда.

По прибытии для разгрузки должно хватить нескольких мгновений. Всё учтено: содержимое вагонов и платформ должно быть молниеносно выгружено на пристанционные насыпи. По прошествии отведенного на это времени паровоз обязан отправляться дальше — неумолимо.

— Но в эшелоне 38-452 еще несколько вагонов с материалами!

— Ничего!

— В 35-326 еще остались люди при обозе.

— Не важно: отпущенное время прошло; ни секунды больше.

И в самом деле, что эти несколько вагонов по сравнению со следующей волной грузов, которая у въезда ждет своей очереди, подгоняя предшественницу?

Свисток — и опорожненные эшелоны продолжают свою безумную гонку; теперь обратно, на запад.

Всё мчится в бешеном темпе, на натянутых нервах, на предельной скорости.

Исполнская структура держит на себе это беспримерное усилие: беда, если она надорвется, застопорится. Миллионы людей умрут тогда от голода и останутся без боеприпасов.

Вот где делается война.

— Что поделаешь, ребята!..

Сегодня какой-то машинист не успел забраться на свой паровоз: его сбил другой локомотив, шедший по соседнему пути; от железнодорожника не осталось почти ничего: кашлица из крови и искромсанной плоти.

Преподаю ему отпущение грехов. Кем он был, немцем, русским, венгром, поляком? Или, точнее, — католиком, православным, иудеем, протестантом, атеистом?

Несколько вагонов — от долгой езды — плохо катят.

— Стоп. Какие именно?

Пара рывков рычагом, и они уже в кювете; и вперед, вперед!

“Наверстать время, прибавить скорость!”

У Пириятина пробка на три дня, но к Днепру ведет и другая, второстепенная ветка, о которой почти ничего не известно. Два лишних дня пути; но, если просто ждать, *пока рассосётся*, получится на несколько часов дольше. Так что вперед, туда, где *ничья земля*.

Похоже, на какое-то время мы покидаем зону военных действий. В последний раз глотнуть свежего, чистого воздуха, прежде чем навсегда окунуться в раскаленную атмосферу битвы.

Сошедшиеся армии многочисленны и огромны. Но Россия — огромное.

Итак, проезжаем места, которые война обошла стороной. Значит, всё здесь должно быть, как в мирные дни.

Однако и тут людей почти не видно. Бедные, опустевшие дома! В изобилии только нищета.

— Здесь, — обращаюсь я к Б., — картина уже интереснее. Вся эта жуткая скудость, конечно, не из-за войны, потому что на местном населении она пока впрямую не сказалась.

— *El defeto xe nel manego!* — отвечает он. — Может, посмотрим, что там внутри?

* В буквальном переводе с венецианского диалекта эта фраза означает: “Изъян в ручке (от зонтика)”; Б. имеет в виду, что корни бедности следует искать в системе.

Посмотреть, что там внутри, — дело непростое.

Впрочем, машинист убежден, что намеченных выигранных часов мы никак не упустим, и поезд особенно не торопится; так что удалиться даже на целых полдня — не безрассудство.

Снаряжаемся для экскурсии.

Дороги здесь еще *in fieri*^{*}, почему — яснее ясного: местные просто не испытывают в них нужды или с радостью без них обходятся.

Роль гостеприимного хозяина берет на себя Б.: он дает все пояснения, как по желанию, так и без желания "гостей". Но когда приходится выбирать направление, он приходит в некоторое замешательство; и, обличая нашу компанию за присущий ей буржуазный дух, вместе с тем замечает, что это дело с отсутствием дорог, несомненно, штука неприятная.

"Эти русские, — говорит он, — всё-таки какие-то чудные".

В лесу обнаруживаем жалкую компанию на привале. Беженцы: женщина с несколькими ребятишками; они прошли, должно быть, сотни километров в поисках краев, не затронутых войной, подальше от ее тяжкого, обжигающего дыхания.

Если дети сдюжат, завтра утром они пойдут дальше: где-то на Днепре у них живет родственник, они попросятся к нему в дом.

Вокруг Б. не должно происходить ничего, что

* В процессе становления (лат.).

могло бы вызвать жалость, иначе он сразу раскисает, и тогда — прощай, юмор! Однако на сей раз ему удается сдержаться, может, потому, что он по-прежнему хочет быть у руля.

— Ну вот, здесь у них хлев.

И действительно, минут через пятнадцать мы подходим к белому каменному зданию: других таких мы в сельской местности не встречали. Все жилые дома, которые мы видели до сих пор, сделаны из глины, дерева и соломы; разве что крыша у некоторых — из жести.

Что перед нами хлев, Б. вывел из учения о единстве противоположностей. Ход рассуждений у него был такой: если люди живут в лачугах из навоза и грязи, то в домах из кирпича, очевидно, должны жить животные. Вот завершение юмористических умозаключений нашего друга: “Потому что, видите ли, в соответствии с новым, большевистским, мировоззрением, люди производят кирпичи для хлевов, в которых помещаются животные, а животные, из солидарности, а также согласно директивным указаниям о равенстве, производят навоз для домов, в которых помещаются люди”.

Умозаключение довольно тонкое, высказывание остроумное и нравится всем.

Но вот какая беда.

Тот, кто первым вошел в ограду, говорит, что это и вправду хлев.

Желание поохотать у всех тут же проходит. Даже Б. поскуцнел, потому что его находка потеряла смысл. "Ну, русские, — говорит он, — сдастся мне, что они над нами смеются!". Он явно огорчен.

Мы — в колхозном павильоне. Это свинарник для рационального разведения скота; за ним виднеется телятник и несколько конюшен. В общей сложности в них, очевидно, размещалось несколько тысяч голов. Если смотреть с такого близкого расстояния, комплекс кажется гигантским; но немецкий солдат, который готовит постройки к последующему использованию, говорит, что нам не стоит особенно удивляться. Во-первых, потому, что дальше к югу есть усадьбы намного богаче, чем эта, а во-вторых, потому, что перед нами — единственное сельхозпредприятие в радиусе ста с лишним километров. Стало быть, сравнительно с имеющимися возможностями, это ерунда.

Вокруг — около 15 километров обработанных земель, остальное брошено: ничья земля.

А люди?

В большинстве своем они работают на колхоз, как батраки: зарабатывают на кусок хлеба, а о том, чтобы сделать что-нибудь еще, и не помышляют; да ведь они ничем и не владеют, кроме избенки да огородика.

Прогулка становится всё интересней; но сцена, происходящая у нас на глазах, умеряет наш исследовательский пыл.

Где-то в округе есть партизаны?

На лошади, скачущей во весь опор, мчится солдат-украинец. С близкого расстояния доносится выстрел. Вот бегут немецкие солдаты, направляясь туда же, куда поскакал украинец, и пребывая в том же состоянии крайнего возбуждения. Идет классическая облава: травят нескольких оставшихся в живых "диверсантов".

Охота завершается прямо перед нами, в окрестностях колхоза.

В двух шагах — лесок: туда, в гущу деревьев, устремляются преследователи. Еще несколько минут, и заяц пойман: это здоровенный парень; бледный, измученный, но глаза сверкают нешуточной страстью. Его ведут два украинских полицейских, рядом, на всякий случай, несколько немцев.

Нам встретились русские ребяташки, которые салютуют по-римски и говорят: "*Viva l'Italia, viva il re*". Другие сумели выучить еще пару-тройку любезных слов на итальянском.

Девушки улыбаются, женщины работают, мужчины в благоговении склоняются перед священными предметами.

В целом такое впечатление, что они хорошо восприняли приход оккупантов. Похоже, довоенное правительство не вызывало у них особых симпатий.

* "Да здравствует Италия, да здравствует король" (ит.).

Живут они в маленьких примитивных домишках, которые, правда, содержатся хозяевами в большой чистоте. Опрятность делает их вполне симпатичными.

Говорят, что дальше, в больших населенных пунктах, нет следа и этой чистоты. Здесь еще чувствуется западное влияние, которое пока не сумела притупить даже новая большевистская цивилизация, — ведь в этих краях она оставила мало следов.

Посреди сливовой рощицы стоит белый домишко, который кажется погруженным в сон. Вокруг него — тщательно ухоженный садик, в двух шагах вырастает из-под земли колодец с навесом, напоминающий сельскую божницу.

Неужели мы и правда найдем тут воду?

Углубляемся в садик, но никого не видно. Сейчас как раз то время, когда крестьяне возвращаются домой с полей, — во всяком случае, у нас, в Италии. Вечереет. Мы стучимся в дверь.

— *Можно?*

Слышны медленные шаги, и вот нам открывает девочка лет двенадцати.

Итак, в доме (что они только там делают?) она и мама. Кроме них никого в живых не осталось. Раньше были тут и другие. Единственный мужчина, отец девочки, который не пошел на войну, тоже умер, уже полгода как, и они его похоронили совсем рядом...

Вот неожиданность! Мы-то, оглядев сад, не нашли в нем ничего примечательного. Оказывается, в глубине, под самым красивым, но теперь безжизненным деревом, — холмик, увенчанный крестом.

Да, отца они похоронили здесь, у дома: обрубали корни самого большого дерева, чтобы и оно участвовало в их трауре, и поставили простой деревянный крест, который охраняет память усопшего.

Каждый вечер, в сумерках, женщина и девочка приходят сюда посидеть и погружаются в воспоминания под надрывное треньканье балалайки.

Нет ни одного русского, который не умел бы играть на этом простейшем инструменте, представляющем собой нечто среднее между нашей гитарой и мандолиной.

С помощью классической игры и арпеджио минорного аккорда исполняются на балалайке народные напевы, передающиеся из века в век, как поговорки, и столь же пленительные, как они.

Сегодня вечером мы как раз и присутствуем на одном из таких печальных выступлений. Девочка сидит на деревянных ступеньках крыльца; женщина, уткнувшись лицом в ладони, сидит на колодезной скамеечке. Играет дочь: звучит последовательность из четырех аккордов, в безутешном миноре, который всем рвет душу. Последовательность повторяется без конца, и только время от

времени прерывается вариантом, включающим в себя секундный отдых.

Впервые я начинаю что-то понимать в таинственной русской душе. Что они при этом делают? Молятся? Плачут? Отдыхают душой?

Никто не может с точностью ответить. Они погружаются в эти четыре ноты и следуют за незримой нитью размышлений, которые уводят их в неизвестный мир.

По всем признакам это напоминает мистическую экзальтацию: плач, молитва и увеселение сливаются в неотчетливую форму, которая может представляться тем или иным из этих голосов души — в зависимости от того, к радости или к грусти более склонен темперамент видящих и слушающих.

КОЛЕСА НЕ ВЕРТЯТСЯ

У Полтавы следы войны совсем свежие; им от силы несколько недель. У всех обостряется наблюдательность; неожиданно мы обрели прекрасного гида по этим местам и по событиям, которые здесь произошли.

На последней станции в наш вагон сел немецкий офицер: он участвовал в последних весенних боях.

“Здесь было прорвано окружение, здесь генерал Х. отразил натиск ударной группировки рус-

ских, здесь "штукас"* посеяли смерть в рядах большевиков".

Машины, здания, земля, кресты — во всем этом еще читается мучительное напряжение последних событий.

Откос железной дороги рябой от пуль и снарядов, станции целиком разрушены; вдоль путей — масса обгоревших вагонов.

К югу от Полтавы, за день до прибытия, нас ожидает поразительное зрелище. Перед нашими глазами простирается необозримая равнина, ставшая кладбищем для нескольких большевистских бронетанковых бригад.

— Здесь, — рассказывает немецкий офицер, — на кону стояла судьба Берлина. Нескольким неприятельским бронетанковым бригадам удалось так глубоко просочиться в наши ряды, что они уже не встречали никакого сопротивления: еще немного, и они бы с легкостью расчистили путь к границе, перейдя Днепр. Гибель нависла над всеми немецкими позициями: чтобы попытаться спасти что возможно, надо было совершить очень опасный и кровопролитный маневр. Но внезапно налетевшая с запада метель воспрепятствовала продвижению красных *panzer*** , которые застряли на несколько дней, не имея возможности маневрировать. За это время немцы подтянули ре-

* Так автор называет немецкие истребители.

** Танков (нем.).

зервы, и ужасающее преимущество русских обернулось разгромом. Всецелая заслуга генерала Мороза, — завершил свой рассказ немецкий офицер.

Немецкий майор из санатория для выздоравливающих в Б. поведал мне, накануне отъезда, другую подобную историю.

Он воевал на Московском фронте и до сих пор носил в собственном теле свидетельство о схватке гигантов, развернувшейся у большевистской столицы.

— Почему вы называете это схваткой *гигантов*?

— Может быть, никогда больше на этой войне не случалось более отчаянного и колоссального столкновения сил. Падение столицы казалось неминуемым, и немцы знали, что, возможно, именно в этом сражении решается судьба родины.

Три тысячи танков, зажимая город в клещи, должны были вот-вот завершить этот блестяще выполненный маневр и окружить Москву: вся грандиозная немецкая военная мощь, которая до тех пор не знала остановок в своем победоносном натиске, сосредоточилась в предельном, судорожном усилии.

Лавина из людей и стали катилась на восток, опрокидывая всякое сопротивление. Командованию тыла было известно, что люди выбились из сил, что машины на последнем издыхании, но, предвкушая опьянение победой, начальствогнало их: "Вперед, вперед!" Еще несколько часов, ду-

мали они, и большевизм будет уничтожен, а Россия лишится возможности продолжать войну.

Но как-то ночью, в два, в час возобновления военных действий, когда машины должны были с леденящим душу ревом ринуться в последнюю атаку на город, немецкие части содрогнулись от ужаса. Внезапный скачок температуры превратил трассы в ледяное бездорожье, пригвоздив к мерзлой почве людей и танки. Осознав это, немцы испытали замешательство, граничащее с ужасом; предпринимались отчаянные, нечеловеческие усилия, чтобы продолжить движение. Все тщетно.

Приказ наступать любой ценой подгонял людей, в нем сосредоточилась мучительная, неудержимая воля...

В ответ — тишина: *колеса не вертятся*.

Затем была катастрофа. О дальнейших событиях газеты еще не написали, а может, уже и никогда не напишут.

Разве не видна рука Божия в том, как внезапно и бесповоротно отказали машины перед лицом тайных сил природы?

И почему люди не умеют прозревать этот лик Бога, Который шествует на крыльях бури?

Мы на пороге настоящего театра войны.

Куда именно мы направляемся, точно неизвестно: об этом ходят самые противоречивые слухи. Ясно одно: мы недалеко от цели, а значит, и от испытаний.

Говорят об успехах немцев, об их сокрушительных наступлениях и о поспешных отходах русских. Это немного помогает держать на высоте моральный дух. Но в целом уже чувствуется бремя иррациональных сил войны.

Когда мы вернемся?

Выматывающая усталость, накопившаяся за время пути, в конце концов ввергла нас в состояние мучительной тоски по суше, какое бывает у моряков.

Конечно, пойдут всякие неприятные вещи, *марш-броски*... (Кто, интересно, первым обронил это слово? Наверно, как и многие другие, оно случайно прозвучало в каком-то разговоре; но что оно таит для нас?)

И все же, достаточно с нас этого поезда: квадратный метр пространства на человека — маловато, и нам уже неважно. Две недели такой жизни сильно напоминают две недели на Прокрустовом ложе. А шипов тут тоже видимо-невидимо: воспоминания, бездействие, воображение, неподвижность, однообразие и т.д.

Разве есть сейчас хоть какая-то разница между нами и, например, хирургическими инструментами, упакованными в ящик, или мулами в стойле?

Утром мне надо бы умыться, да воды нет; хочется подойти к окну, да там уже кто-то есть; сажусь на свое место, но одолевает сон; укладываюсь

спать, но поезд останавливается. Стоит нам выйти, чтобы коснуться стопами земли, как поезд трогается.

— Хватит, — кричит Б., злой до невозможности. — Я больше не собираюсь быть даже начальником столовой — не хочу! Спрячусь вот в ящиках с провиантом или среди *неприкосновенного запаса* галет. И горе тому, кто меня побеспокоит! Я тоже стану *неприкосновенным!*..

Еще одна ночь в поезде.

Мы всё еще закупорены в своем купе.

Нервы у всех сильно расшатаны. Нужно бы хоть немного отдохнуть; но вместо этого напряжение неизбежно будет только возрастать. Даже если исключить все прочее, одних усилий по адаптации к новому месту хватит, чтобы изнурить нас еще больше.

Мы километрах в сорока от линии фронта. Направляемся еще южнее: в Сталино? в Мариуполь? в Рыково? в Ростов?

Несколько осветительных ракет прорезают небо; те немногие солдаты, которые еще стоят у окон, тихонько, так, чтобы никто их не услышал и не увидел, читают "Радуйся, Мария".

Осветительные ракеты — ерунда, согласен.

Но видеть, как они взлетают прямо тут, над головой, — весьма неприятно. Слышны также артиллерийские выстрелы; все деревни погружены во тьму.

“Ну вот, Господи, это война: пять тысяч километров железных дорог были ее преддверием. Завтра войдем в сам ее храм”.

Ночью всем нам очень тяжело. Солдаты от нервности начинают петь. Эта песня очень напоминает ту, что исполняли артиллеристы, возвращаясь с последних стрельб.

А вот мои последние молитвы в поезде, на оборот, весьма мне удаются.

“Господи, сейчас я могу немного поговорить с Тобой: мой сосед спит, и я один. Только бы мне на голову не упала каска или фляжка, только бы не перекатывалась под одеялом половинка лимона, только бы не прорвал сетку походный чемоданчик, и я буду спокоен в эту последнюю ночь.

Я хотел помолиться сегодня утром, но пришел Б., звать меня за ягодами, на поиски клубники. Потом, часов в десять, я взял в руки Новый Завет, чтобы поразмышлять над Посланием к Галатам, но пришел Д. с просьбой прояснить кое-что в сильном спряжении глаголов немецкого языка.

Потом за обедом я увидел Тебя, Господи, сквозь чью-то богохульную ругань; лишь на какой-то миг я сумел взглянуть на Тебя — как Петр, когда Ты проходил мимо него со связанными руками в Пилатовом перистиле.

В два я совсем обессилел и заснул, положив голову на раскрытое Евангелие; но во сне я плохо себя почувствовал и пробудился внезапно на пос-

ледней станции, под приветственное карканье вороньей стаи, звучащее печальным предзнаменованием.

Потом — солдаты, бесконечно надоевшее лицезрение вагона, посещение двух-трех провинившихся и наказанных, прогулка к складу оружия, ужин, осветительные ракеты...

Ракеты до сих пор мелькают в небе: но я — вот он, один перед Тобою.

Научи меня молиться голосом души, а не уст. Голосом духа моего, который страдает, который трудится, который шествует, который иной раз как будто удаляется от Тебя, но на самом деле — всегда пребывает у ног Твоих, принимая Твое поручение и проживая его ради Тебя.

Сейчас ночь: спят родные у меня дома, друзья спят; солдаты спят. Я готовлюсь к своей мессе. Не знаю, смогу ли действительно завтра утром отслужить ее, эту мессу, но вся наша жизнь в России (так все мы считаем) — литургическое жертвоприношение.

Дай мне и на войне, как бы и чем бы она меня ни отвлекала, обрести радость той же собранности, какую Ты ниспосылал мне в моей семинарской комнатке, даруй утешение трудиться для Тебя и тогда, когда я буду чувствовать себя сухим, как степь.

Посреди этих людей, которые должны быть завоеваны Духом, чтобы принять Его, даруй мне

*sensus Christi**, чтобы озарить что-то, избавившись от тяжести этой убогой человеческой природы.

Если я потеряю внутреннюю бдительность, мной овладеет та же печаль, что и другими. А мне нужно быть лучезарно мирным со всеми и во всем.

Если я не буду делать над собой усилий, я тоже потеряюсь в общей туманной неопределенности, в которой нет ни духа, ни чувств.

Поскольку я должен быть одним из них, помоги мне не стать черствым и сухим, как мир вокруг нас.

Пойди я вслед за своим инстинктом, тоже бы стал офицером: отдал бы этому физические силы, способности ума, ресурсы сердца; но тогда я поступил бы, как осквернитель храма.

Мне должно полагать, что все, кто обращается ко мне с чем-то, просят об одном: *Voluntas videre Jesum***.

ЭТО РОССИЯ

Говорят, мы в Никитовке; говорят, что дальше ехать нельзя и что надо выгружаться тут.

Мы осовело оглядываемся: несколько серых домишек, какая-то длинная колоннада, необозримая паутина путей.

* Разумение (воли) Христа (лат.).

** Хотим увидеть Иисуса (лат.).

Приехали?

У всех уже уложены вещмешки; до боли знакомая дорожная форма исчезла: каска на голове, винтовка через плечо.

Приказ выгружаться!

С глубоким волнением всматриваюсь я в эту землю: она не такая, как та, что мы видели до сих пор. Это — Россия, это — конечный пункт нашего путешествия; и это станция, которой завершается наш долгий путь.

Будто дверь захлопнулась у нас за спиной, с глухим стуком.

Я чувствую настоятельную потребность склониться до земли и поцеловать ее. Но потом решаю, что здесь это было бы проявлением слабости: все сурово, все черство, все сухо. Я тоже должен быть таким.

"Господи, я сердцем целую эту землю, заливаю кровью, ибо пришло время моего жертвоприношения".

Обстановка нервная. Души на взводе. Усталость ли, тревожность, или первое знакомство с тем, что нас ожидает, привели всех в состояние атонии.

Собираю людей у последнего вагона.

— Ребята, с этого момента мы — в полосе войны; мы живем по законам войны, в атмосфере войны. С этого момента у нас есть одно — долг, и мы исполним его образцово. Будем помнить, что наше

присутствие на этой земле наполнено особым смыслом. Поклянемся же никогда и ничем не предать воинскую доблесть и высокое имя итальянцев и католиков. И пусть память о родных и о далекой родине побудит нас с воодушевлением исполнять эту миссию. И да поможет нам Господь сделать это, ценой любых жертв.

Краем глаза замечаю буквы на вагоне: кто-то из солдат, выйдя из поезда, написал мелом свой привет Италии: "Мама, прощай, я не вернусь"

Думаю, таков общий настрой: нужно немного встряхнуть души, оторвать их от этих первых впечатлений.

— Соединимся по-братски в одну большую семью и посвятим эту взаимную любовь сердцу Иисуса, дабы Он помогал нам и защищал нас. Ну а теперь — за работу.

И вот уже полковник отдает драконовские приказы.

Вынос знамени. Команда "смирно". Потом все приходят в движение: сейчас десять, а к полудню платформы должны опустеть.

Лейтенанту Б. поручено руководить разгрузкой. Вот десять грузовиков; младшему лейтенанту Б. приказано надзирать за погрузкой.

В головокружительном темпе из вагонов извергается масса разнообразного материала; и с такой же скоростью грузовики скрываются в глубине равнины.

Куда мы направляемся?

Я уезжаю на предпоследней машине.

Куда везешь нас, водитель?

Грустный миг: покидать поезд — то же самое, что покидать берег или сниматься с якоря, который удерживал нас у берега.

Надо закрыть глаза, зажать сердце и кричать сквозь стиснутые зубы: «Вперед!» Следы сражений, перевернутые машины, разбомбленные дома, танки на ходу. Шофер — ветеран российского фронта, неразговорчивый, сказал только, что везет нас в Горловку.

Всего несколько дней назад здесь еще шли бои: пушки ухают километрах в тридцати.

На дорогах заметно движение, свойственное ближайшему тылу. Немецкие машины на полном ходу, бесконечные автоколонны с бронетехникой и боеприпасами. Грузы с пленными, которых транспортируют на железнодорожные станции. И потом пыль, пыль, пыль и... оглушительный гул. Заговариваю с водителем: он не слышит и не отвечает. Заговариваю с капитаном Б.: результат тот же. Заговариваю с солдатом. То же самое.

Невольно начинаешь думать о засасывающем нас водовороте.

И кто знает, когда он остановится. Меня посещает нехорошая мысль о хрупкости индивида: «Что такое человек рядом с этой лавиной машин? И что такое я, священник, посреди этого обезу-

мевшего мира? Как может мой голос одолеть гу-
дение моторов, или мрачность этой пыли, или
черствость этой механизированной жизни?"

Непреодолимое желание остановиться на
секунду, забраться в придорожную канаву, зак-
рыть глаза и уши, а потом думать, думать... О до-
машних, о друзьях, о семинарии, о своих юных
подопечных, о своей школе...

Деревянные кресты, опять перевернутые
машины, пушечные стволы, танки, вросшие в зем-
лю, как исполинские окаменевшие жабы.

Проезжая по какой-то деревне, видим больш-
шой дом в современном стиле; в его колоннах
различно подражание греческому классицизму.
Наверху — розовая статуя Сталина, разворочен-
ная пулями. Должно быть, она железобетонная
потому что отовсюду торчат железные прутья; от-
битая голова лежит на плече. Мы видим извая-
ние мельком и в профиль. Похоже на человека
который корчит рожи.

Раньше я никогда не слышал о Горловке; а
оказывается, это крупный промышленный
центр.

Исполинские *терриконы* на заднем плане в
первом приближении кажутся египетскими пира-
мидами. Заросли дымовых труб; гигантские метал-
лические трубопроводы пересекают местность
как в наших краях — телефонные и электрические
провода. Здесь тоже всю свирепствовала война.

об этом говорят рухнувшие трубы, разбомбленные шахты и, как всегда, грузовики и танки в канавах или вдоль дорог.

Люди?

Их мало. Все те же оборванцы.

Боже, какой же странный лик у этой России!

Водитель показывает, что собирается остановиться; жалко: это кинематографическое всматривание в лицо России, каким оно предстает впервые, этот просмотр, начавшийся час назад, уже успел заворожить меня и даже навеять грусть.

Остановиться — значит прервать волшебство. Но таков закон нашей новой жизни: надо привыкать делать все противоположное тому, к чему стремится душа.

Слева — длинное зеленое пятно, которое простирается неопределенно далеко. Необозримый лес: место стоянки. Целая дивизия находит здесь прибежище, надежно замаскировавшись.

Однако эта *бесконечная маскировка* начинает действовать мне на нервы.

— Это мера предосторожности или необходимость?

— Точно не знаю, — говорит водитель. — Но русские навещают нас каждую ночь.

Бормоча страннейшие слова, призванные отогнать от нас неприятные неожиданности, мы выходим из машины. На дороге нас уже ждет кто-то из прибывших ранее.

Чувствуется всеобщая растерянность. Мы кажемся себе маленькими.

Здесь — место нашего первого привала.

Мы находимся в районе больших шахт. По краям леса расположены длинные одноэтажные постройки: должно быть, это — жилища шахтеров.

Многие из этих домов пострадали во время боев. Те, что остались нетронутыми, будут использованы для складирования наших материалов, сами мы станем в лесу.

Беспредельная усталость. Впечатлений от нового места. Взволнованный отклик на свежие известия о боях. Мы ошеломлены.

Нам хотелось бы помыться, но говорят, воды нет. Хотелось бы поесть, но в ответ слышим, что нет еще ничего: нас ждали не раньше завтрашнего дня. Хотелось бы присесть, чтобы немного отдохнуть, прорвать эту закупорку духа. Но куда садиться? Как остановиться?

До вечера должны быть приведены в порядок складские помещения, подготовлено место для лагеря. С завтрашнего утра надо начать нормальную жизнь в условиях военного лагеря.

Общая озабоченность нарастает.

Я заставляю себя держаться спокойно. Но, возможно, мне не совсем удастся угаить физическую усталость.

Ну вот наконец какая-то разрядка!

К нам наведались друзья, уехавшие за несколько дней до нас: они здесь уже неделю. Братские объятия.

— Ну, как тут обстоят дела?

— Неплохо, — говорит капитан В.; но по лицу видно, что ему пришлось несладко.

Предыдущие дни были адскими. Проливные дожди; непрерывные бомбардировки: русские знают, что лес служит нам укрытием. Да и эта жизнь в палатках...

“Скоро узнаете, скоро узнаете!”

Мы находим здесь и того солдата, что потерялся в пути: он ждет нас, и глаза его еще наполнены страхом.

Оттого что он нашелся, всем на душе становится легче. Но неотвратимое наказание все же настигает его. Он — в слезы. Пятнадцать дней гауптвахты в качестве первого приветствия в этих и без того негостеприимных краях, как я вижу, — слишком сильный для него удар.

Я отзываю его в сторонку и, разрывая цепь его невеселых умозаключений, говорю: “Не время плакать: принимайся тотчас же за работу. С командиром я поговорю; но ты обещаешь мне, что будешь примерно исполнять свой долг. Твои домашние о том, что стряслось, не узнают, а с невыплаченным жалованьем как-нибудь разберемся”.

А вот и почта!

Лейтенант П. появляется с кипой писем.

Это наша первая настоящая радость после двадцати дней непрерывного напряжения.

Все преображаются. Посреди этого бушующего моря каждый создает для себя островок безмятежного семейного уюта: это письма от мам, братьев, сестер, друзей. Я и не думал, что письмо может стать такой отрадой. Есть двое, которые ничего не получили: в унынии, без слов, они отходят от остальных.

Теперь и я закрылся на минутку в себе — пообщаться со своими корреспондентами. В письме из дома читаю мамины тревожные наставления: она уговаривает меня быть поосторожнее, не подставляться под пули, не ходить одному и не забираться в сырые места.

Друг пишет мне под впечатлением моего внезапного отъезда. Говорит, что я пропал у него из глаз, как воздушный змей, унесенный ветром. Он меня не видит, но пристально смотрит на восход: с этой стороны я вернусь.

Уверенность в этом ему дал Господь.

Метрах в двухстах, в глубине леса, — отведенное для нас место. Здесь мы должны будем поставить палатки.

“Господи, если будет на то Твоя воля, я смогу вернуться домой. Но дар принесен”.

Мне помогают солдат и мой ординарец. По специальному разрешению я могу поставить палатку из восьми полотнищ. Мои познания в дан-

ной области ограничиваются воспоминаниями о прочитанной когда-то инструкции по установке.

Вперед, за работу!

Сначала разыщем место: нам не следует выходить за пределы отведенного участка; затем не забыть:

вход — по центру,
искать луч солнца,
земля должна быть чистой,
не загромождать подходные тропы.

Вот, под этими двумя дубами: тут сухое место, сюда падает солнце. Начинаем состёгивать два полотнища: это будет потолок. Переходим к шести боковым полотнищам: колышки, опоры, веревки, тяги.

Собираем, разбираем; наконец, не без некоторого расхождения с правилами, дом возведен.

Операции по отделке сложны: двум верхним полотнищам нужно придать форму крыши, чтобы на них не застаивалась вода. И как же этого добиться?

А вот как: мы протягиваем веревку от стыка полотнищ к ветке дерева и закрепляем ее там; желоб для стока воды выглядит великолепно; теперь квартира презентабельна.

“Боже, так, значит, это мой дом и Твоя скиния?”

Темно, жарко, сыро, тесно; с “пола” поднимается запах перегноя и сухой листвы. Он пропитывает собой все и не дает дышать.

Раскладушка еле помещается; из ящичка составляю столик, который будет служить мне и алтарем; потом всё, мы готовы: жизнь в России начинается.

Сегодня вечером, наконец, смогли приготовить еду. Мы, как и другие, едим из котелка: суп так кажется вкуснее.

Но тут же наступает ночь. Солдат явно пугает этот первый вечер в лесу; кто-то говорит: "Придут они этой ночью?"

Я в палатке один.

Когда догорит этот огарочек свечи, всё погрузится в темноту.

Все спят; кажется, они и во сне стараются сдерживать дыхание, чтобы лишним шумом не привлечь... кого?

*"Noctem quietam et finem perfectum concede nobis Dominus omnipotens!"**

Благословляю лагерь.

"Вот и славно, Господи! Мне нравится служение врачевателя душ. Мои прихожане — эти ребята, потерявшиеся посреди бури, без дома, без родителей. Здесь нет Церкви, нет колокола; ночью слышен грохот орудий, и голос войны, и проходящая тень смерти... Но не проходишь ли и Ты между этих палаток, не заходишь ли в эти сердца? Я должен приготовить Тебе путь..."

* "Спокойную ночь, и блаженную кончину да подаст нам Господь всемогущий" (лат.).

Краткое молитвенное размышление перед сном.

Вот оно:

План территории: моя палатка под покровом леса. Вдали слышатся два орудийных выстрела.

Прелюдия первая: для чего я приехал в Россию?

Прелюдия вторая: Господь, если я здесь, то не по своей воле, но потому, что так было угодно Тебе. И значит, *fiat voluntas tua*!

(Но как же жестка эта раскладушка!)

В семинарии я был самым миролюбивым человеком на свете; а теперь, по воле Твоей, мой дом — война.

Прежде спать с открытыми окнами для меня было равносильно катастрофе; а теперь я бодрствую в этой палатке, пропитанной сыростью и продуваемой со всех сторон.

Раньше в своей духовной жизни я не мог отвлекаться, потому что потерял бы нить благоговения и внутреннего света; здесь двери духа распахнуты, и мирское поглощает всё.

Я не мог ездить на машине, не мог ходить пешком, не мог дышать свежим воздухом; здесь же за один день ты должен отмахать столько километров, сколько волос в бороде. Ездить на машине так же необходимо, как дышать; дышать

* Да будет воля твоя (лат.).

свежим воздухом — то же, что для русских есть семечки.

Остерегаться простуд, повышенной температуры, головных болей: любое из этих недомоганий могло сигнализировать о возвращении какого-то из моих многочисленных юношеских недугов; здесь же вместо внутривенных вливаний я лечусь семечками. Вместо того чтобы отправиться в горы, мы будем утопать в пыли; вместо ~~полного~~ полноценного питания, получим приказ *затянуть пояса*.

(... Хлеб сегодня по вкусу мало чем отличался от грязи!)

Заключение:

1) Царство небесное есть зерно, которое должно сгнить, чтобы прорасти.

2) Бог так же умеет преобразовать соломинки в кедры Ливанские, как Он умеет превращать камни в чад по благодати.

Следовательно... спокойной ночи.

(Однако, аскеза аскезой, но эта раскладушка... просто невероятно жесткая!)

БЕСПРИЗОРНИКИ

Сколько же сцен растленности и здесь, посреди войны!..

Боже мой, я больше люблю перед ~~дверями~~ краями там грохочут орудия и свирепствует картечь, но

там же окровавленная плоть вновь обретает свою изначальную добродетель!

И все же некий голос кричит у меня внутри: "Спокойствие и терпение". Было бы слишком удобно отправиться на войну и наблюдать, как сердца тут же, будто по волшебству, очищаются: искупление души происходит только пролитием слез и крови.

Но как разрешить эту проблему? Должен ли я усадить ту женщину перед собой и, с глазу на глаз, излить на нее все свое негодование? А может, лучше мне все же сдержаться, потому что, быть может, на проституцию ее толкает голод?

*«Fratres, sobrii estote et vigilate quia adversarius voster diabolus tamquam leo rugiens circuit quaerens quem devoret...»**

Братья, трезвитесь, бодрствуйте, ибо...

Но солдаты не понимают этих призывов духа.

"Знаете? В четырех километрах отсюда — озеро. Кто соскучился по купанью?"

Теперь все движемся в сторону озера.

На смену вчерашней угнетенности приходит более спокойное и умиротворенное душевное состояние.

Русские ночью не приходили.

Новости радуют: наступление продолжается. Мы уже ходим по лесу как по своему дому.

* "Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого полотить" (1 Пет.) (лат.).

Чтобы добраться до озера, нам придется пересечь почти весь этот лес.

Если бы мы шли отдельной небольшой группой, нам, скорее всего, пришлось бы вести себя намного осторожнее, но нас много, и мы вооружены, так что бояться нечего. Видим недавно срубленные деревья. Дальше тянутся длинные правильные ряды искусственно высаживаемых вязов.

Озеро обманывает наши ожидания: это самая обыкновенная черная лужа. Однако поход нельзя назвать неудачным.

Наше внимание привлекает интересное деревянное строение в глубине леса, о двух этажах.

К нему ведет аллея, вдоль которой расставлены статуи: это изображения юношей и девушек, застигнутых в самые разные моменты: одни заняты игрой, другие работой, третьи предаются размышлениям.

Изваяния из грубого бетона, без всяких претензий на художественность; они как будто даже кичатся своим неряшливым видом.

Повсюду красные звезды и большевистские символы. Ясно, что это — учебно-воспитательное заведение, причем многие признаки указывают на то, что перед нами что-то вроде женского интерната. Наверно, комсомольский пансион.

Естественно, было бы наивно искать тут хоть что-то, имеющее отношение к религии, большие

портреты и бюсты Ленина и Сталина придают этому комплексу строго большевистский вид. Здание состоит из трех павильонов, отделенных друг от друга двориками: в первом, очевидно, находились столовая и актовый зал; во втором — спальные комнаты; в третьем — школа и мастерская. И никаких следов другого оборудования, которое, по нашим представлениям, необходимо для школ и колледжей.

Места общего пользования примитивны; все они расположены далеко от здания. Умывальники — посреди двора. Большие печи, загромождающие классы, занимают место термосифонов. Есть водопроводная труба и электропроводка.

Строение использовалось, судя по всему, еще несколько месяцев назад: возможно, в последнее время здесь был небольшой центр сопротивления, потому что там и сям виднеются следы от пуль и картечи.

Нашему любопытству хотелось бы расспросить каждый камешек, каждый предмет мебели, каждую статую, в надежде обнаружить что-нибудь живое, способное поведать о той жизни, что шла тут несколькими месяцами раньше: о людях, которые здесь жили, об их привычках, об их судьбе. Все немо: и мы возвращаемся, унося в душе свои расспросы. Но всех тех, кто захочет совершить экскурсию по окрестностям, вырвавшись на время из раскаленной атмосферы этой местности,

которая может поведать об одних машинах, отныне мы будем направлять в комсомольский интернат.

Прожив день в Горловке, мы, по ощущениям, уже овладели ситуацией. О чем-то догадываемся сами, что-то нам сказали друзья, о чем-то помним понаслышке.

Промышленный комплекс стоит рассмотреть повнимательнее.

Там, среди изб, есть рынок — наверное интересное.

Потом имеется несколько православных братушек: мне обязательно нужно посетить их. Кроме того — кладбища, шахты, стадион, население.

Это и есть Россия.

Вся Россия, с голосом ее мучеников, миллионов погибших, с реальностью миллионов машин апокалиптических пятилетних планов, мистической практики равенства, стремления к господству.

Если посмотреть вдаль, в ту сторону, куда уходит эта мощеная дорога (говорят, единственная во всей Украине), когда в глаза бьет солнце, то кажется, что там, на востоке, разгорается топь.

Может быть, это разрушающийся миф?

Или занимающаяся заря революции? Никто еще не сумел точно оценить историческую роль этого страшного человеческого эксперимента. Быть может, Ленин и Сталин, которые, решительно разрушив мосты в прошлое, поставили на него

вую основу жизнь двухсот миллионов человек, обозначили тем самым вехи нового пути?

Непонятно.

Внешне это выглядит так: вертикальную цивилизацию сменили горизонтальной человек, рожденный из земли, весь ушел в землю; небо закрыто, дух уничтожен.

Такова несущая конструкция храма материн, где поклоняются серпу и молоту.

Стайка детей возникает из развалин барака: они ничьи.

Одному года три: вытянутое лицо, торчащие зубы, раздутый живот; он почти голый. На девочке лежит тень смерти; неясно, за счет чего она еще остается среди живых. У каждого на лице — стигматы голода. Лица изнуренные, одежонка рваная, вид, как у зачумленных.

Обычно какая-нибудь безделушка или медальон зажигали в глазах у других детей искорку жизни.

Этим не до того: они едва способны сделать несколько шагов, чтобы взять немного хлеба и супа; жизнь в них еле теплится. Еще одно лишение, и этот последний огонек погаснет.

Но все это — последствия войны.

Труба пропела "тишину". За деревом — какое-то шевеление. Стой, кто идет?

Это ребенок. Он поднимается с земли; глаза его наполнены ужасом.

— Почему ты здесь? Почему один? Почему плачешь?

— *Nema doma.*

— *Gdie tata?*

— *Ia nisnaju!*

Ночует он в тайнике рядом с шахтой. Днем выходит на поиски хлеба. Сегодня вечером наш "отбой" застал его далеко от убежища; дальше он идти не может, потому что там немцы стреляют.

Еще один дом. Из окон третьего этажа что-то дело кто-то высовывается. Но жильцов здесь нет.

Придется пойти посмотреть.

На лестничной площадке — торопливое шарканье.

— *Možno?*

Ответа нет.

Выбиваем дверь.

Испуганный вопль: в углу, сбившись в кучку, стоят десять дрожащих от страха ребяташек. Они здесь живут: месяц, как образовали эту "бригаду". А где же семьи?

— Мы о них ничего не знаем.

Поразительно, но это им, судя по всему, не интересно и безразлично.

Ночью они снят на полу. Левый угол превратили в отхожее место; кровать с металлической служит им столом. Они глядят на нас с ужасом.

— Вы нам не сделаете ничего плохого?

— Нет. Идите сюда, мы дадим вам немного.

Неужели правда, что вчера ребята из X пехотного нашли во рву ребенка, умершего от голода?

Б. говорит мне, что эта ситуация с беспризорными детьми не делает чести оккупационным войскам.

Я отвечаю: "Предположим, оккупируют нашу Ломбардию. Ты можешь себе представить там такие же стайки детей, умирающих от голода? Даже если допустить, что они лишены отцовской заботы, матери-то у них, наверно, есть? Или родственники какие-нибудь?"

М., наш переводчик, дает другое объяснение. Эти дети до войны были "государственными": их оторвали от родителей, которые находятся неизвестно в каких краях. Теперь того государства здесь больше нет, и они автоматически стали *беспризорными*.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

У русских нет слова, аналогичного нашему *camposanto* (кладбище, буквально — «святое поле»), которое в столь большой мере наполнено уважением к усопшим — как к чему-то священному.

Вчера мы не собирались посещать кладбище, но, возвращаясь с рынка, рядом с промышленными объектами Горловки, наткнулись на пустырь, заросший колючим сухим кустарником.

— Это, — сказали нам, — кладбище.

Оно похоже на те насыпи, которые устраиваются в окрестностях наших городов для мусорных свалок. Конечно, если бы мы пригляделись к этому участку земли, то заметили бы странные железные столбики посреди травы; но тут вполне могли бы пастись коровы, потому что участок ничем не огорожен.

Ничего выделяющегося, ничего отравляющего, ничего святого. На невозделанной земле там и сям высятся холмики: в их расположении нет ни порядка, ни заботы, ни внимания.

Что лежит здесь под землей?

Поскольку все это называется кладбищем, предполагается, что там — останки людей. Но там вполне могли бы быть и останки животные.

Мои люди морщатся от отвращения. Они чувствуют холодный страх перед этими немощными танами.

В двухстах метрах от так называемого кладбища находится горловский рынок.

Ведет к нему тропинка, затерянная в траве.

Рынок представляет собой прямоугольник примерно пятьдесят на семьдесят метров. По середине — два длинных и грубо сколоченных деревянных прилавка; по сторонам — несколько десятков стошнотворными разноцветными напольными.

Мы смотрим, чтобы никто до нас не добрался, потому что их одежда совсем не соответствует правилам гигиены.

Пройдемся?

Предложение не очень привлекательное. Лично я не имел бы ничего против достойного отступления. Я поклялся друзьям: "На войне — всё, кроме вшей!"

Но, в конце концов, любопытство одолевает все прочие соображения.

Вот у женщины семь яблок, четыре сложены пирамидкой и еще три — в подоле. Она ждет покупателя.

Почём?

На выбор: пять копеек или одна марка.

У мужчины три сигареты в тряпочке. Утром, по дороге на рынок, он, вероятно, скупил все окурки, найденные на улицах, и потом обернул их в три клочка газеты.

Это его товар.

Но кто же, в конечном счете, перед нами, покупатель или продавец? Необъяснимая тайна!

Вот девушка лет пятнадцати продает просо. Четыре стакана в мешочке (стакан — это мера).

— *Odin stakana?*

Никто не завлекает покупателя криком; никто не расстраивается из-за того, что товар не пользуется спросом.

Если продавец семечек и дальше будет поглощать их с такой же ненасытностью, он еще до полудня уничтожит весь свой запас.

Женщина продает картошку; но время от времени отдает несколько картофелин соседке, в обмен на горсть тыквенных семечек.

— А эти тоже вкусные?

— *Da, očen dobra!*

Банка с клубникой.

Продавщица, весьма изящно, берет от ягоды и высыпает их в кулечки из газетной бумаги. Это ее единицы измерения.

Кулек — копейка.

Какой-то бедолага в шинели (и это в июле) продает вещи разнообразного предназначения. Он не тратит ни слова на свой товар, ни похвалы, ни худого.

Подошва от башмака с еще торчащими гвоздями говорит сама за себя, она не нуждается в расхваливании. Наверно, принадлежала берсерку или пехотинцу, недавно побывавшему в этих краях.

Зубочистки в пакетике — девственницы, видно, что свеженарезанные.

— *Одна сопека!* Хотите?

Дверной засов, 5 трехсантиметровых шурупов, два лезвия для бритвы и измятая шахтерская кепка. Всё, разумеется, уже прошло проверку употреблением.

Лицемерие нужды и бедности — вот чем обернулась наша прогулка; нервы расходились. Б. говорит, что лучше нам плюнуть на этот черт

тов рынок, иначе нас репатрируют из-за нервного истощения.

Вчера утром мы сходили туда в последний раз. Никто не предвидел того, что нас там ожидало. Я сильно опечалился; Б. исполнился негодования; а вот Г., наоборот, изрядно повеселился. С кокетливым видом и мягко завлекающими улыбочками к нам подошла женщина в платке.

На сей раз переводчик никому не понадобился.

“Боже, этот рынок и правда чёртов!”

Я осаживаю ее возмущенным взглядом; но сколь огромное сочувствие вызывает она во мне! Какая нищета страшнее, материальная или нравственная?

При посещении гигантских промышленных объектов Горловки испытываешь особый подъем - тот, что дает материя, когда организация привносит в нее тень жизни. Еще совсем недавно многие десятки тысяч рабочих были рассеяны среди этих машинных гор: маленькие живые шестеренки рядом с исполинскими металлическими. Но обычное соотношение между человеком и машиной здесь как будто нарушено. Машина, а не человек диктует свой ритм.

Главная составляющая промышленного комплекса Горловки — добыча и переработка угля. Однако есть здесь и крупные механические цеха: может быть, это тракторный завод?

Пока мы еще не успели их посетить: они слишком обширны и слишком сложно устроены. Нужен месяц, чтобы произвести даже поверхностный осмотр всех этих зданий. Вообще нам очень нелегко представить себе, какой была эта часть Горло, когда здесь кипела работа.

Вчера мы были на рынке в Рыково. Он больше, чем горловский, но в остальном различия нет. Например, вместе с микроскопом продали бывший в употреблении шприц и старый выключатель электрического тока.

И повсюду то же убожество, то же унижение, то же общее немое безразличие.

На пересечении улицы Революции с улицей Сталина, которая ведет к большим заводам, мы обнаружили рахитичного ребенка в сползающих штанишках, с истощенным лицом и впавшими глазами: еще один из многочисленных беспризорников. У капитана Б. на глазах слезы.

Трубы в X. потушены.

Шахты в Y. закрыты.

Шахты в Z. полностью опустошены.

Перед отступлением русские по наущению уничтожили все жизненно важные узлы этого материального центра.

Мы можем зайти на большие огороженные территории, но видим там лишь слабые следы прежних горнорудных комплексов. На двести с лишним метров в глубину земля испещрена

громадной сетью штолен: здесь добывалось несметное количество угля и угольной мелочи растительного происхождения, из тысячелетних ственных залежей.

Отходы собираются и складировются по краям шахт, образуя характерные для этих мест пирамиды, которые называют *терфриконами*. Вне производственных территорий находятся строения социальных организаций.

Рядом с коттеджем администрации — большие товарные склады: рабочие приобретают тут все необходимое для жизни, предъявляя рабочие талоны или платя наличными.

Чувствуется атмосфера коллектива. Перед административным зданием — необъятный огороженный двор; посредине возвышается бетонный помост с громкоговорителем. Очевидно, это было место проведения митингов и демонстраций. Нет недостатка и в неизменных статуях диктаторов, тоже из бетона.

В трехстах метрах — парк вечернего досуга: просторные танцплощадки, скамейки среди цветов, цветные огни. Складывается впечатление, что и сюда добирались око и голос организации; значит, и в таких вещах ни проблеска подлинной свободы.

То же самое следует сказать и о стадионе. Та шестая часть рабочей массы, которая каждый день, чередуясь с другими, уходила на отдых, про-

водила здесь добрую половину своих свободных часов

Самый модный вид спорта — прыжки с парашютом. В нерабочие дни все, мужчины и женщины, могут заниматься им, прыгая с горловой башни (цельнометаллическая конструкция высотой семьдесят два метра), под руководством специальных инструкторов.

Немного подальше — кладбище. Контраст между этими храмами материи, столь замечательно оборудованными, и жалким погостом наполняет печалью.

ОКРОВАВЛЕННЫЙ КРЕСТ

Идем искать Церковь.

Идем искать крест, алтарь, молитву. В общем, нечто такое, благодаря чему мы могли бы обновить свою веру и вновь обрести полноту религиозного чувства.

Нечто такое, в чем душа каждого могла бы найти подтверждение истинности изначального духовного устремления.

Здесь идет яростная схватка между наглым отрицанием Бога и нашим внутренним миром. Многое, внутри и вне нас, сегодня страждет.

Мы идем искать Церковь: немного духа, немного Бога в этой страшной степной пустыне.

Перейдя через мост, поворачиваем налево и преодолеваем короткий подъем на берегу реки: здесь стоит Церковь.

Вот она: восьмиконечный крест, постройка в стиле барокко. Говорят, тут есть и священник: вот уже несколько недель, как Церковь опять стала действующей, и сельское население охотно посещает ее.

Боковой вход еще закрыт на большой висячий замок с изображением серпа и молота.

Священнику лет семьдесят, у него важная осанка и окладистая седая борода по грудь. Он не говорит ни на каком языке, кроме русского, но мы пытаемся хоть как-то понять друг друга.

Начинается осмотр Церкви. Священник что-то говорит, точнее, произносит длинную речь, страстную, скорбную. Но нам не удастся расшифровать хоть что-нибудь. Все мы от этого мучимся; наконец, у него проскальзывает доступное нам слово: "клуб-танц". Теперь ясно: большевики переделали Церковь в танцевальный клуб. Вот пристроенная комната для переодевания, вот останки фортепиано, которое, очевидно, служило для музыкального сопровождения. У священника слезы на глазах; он продолжает разговор о танцах, потом что-то сообщает о погибших и о выстрелах. Нам тяжело оттого, что мы не в состоянии подобрать ключ к его мысли; в качестве утешения делаем несколько снимков.

Алтарная часть храма недавно отремонтирована; ее выкрасили заново. Священник продолжает рассказывать...

Вот другая история, длинная и печальная, как и предыдущая. Но вновь мы не можем проникнуть в смысл произносимого и разделить его горе, и я даю себе обещание не спать ночами, сидя на русской грамматикой, лишь бы раскрыть эту тайну.

Пока же мы стараемся догадаться, о чем идет речь. Если следить за жестами священника, начинаешь понимать, о чем он говорит: растоптанные полотна, сожженные иконы, оскверненные облачения, разломанные распятия.

Подойдя к *sancta sanctorum*¹, священник осеняет себя широким крестным знаменем, затем предупреждает, что миряне не должны входить в алтарь, им следует подождать у двери; он сам покажет нам самые интересные священные предметы.

Тогда я сообщаю ему, что я тоже священник. Произношу, дрожа от неуверенности, первые русские слова: "Я есмь поп итальянски".

Его первая реакция — удивление; но когда он кладет крест у меня на груди он становится на колени и орошает мою руку слезами, а потом вводит меня в алтарь. На жертвеннике лежит крест и на престоле — Евангелие: к ним прикасаюсь только я, остальные фотографируют.

¹ "Святое святых" (лат.).

Но теперь наш вожатый как будто хочет поведать нам что-то личное: он пускается в долгий рассказ, дотрагиваясь до креста и священных книг, затем надевает облачения и, наконец, с волнением покрывает голову чем-то вроде митры. Он был протоиереем; и сейчас, несомненно, рассказывает свою историю.

У нас все те же затруднения с пониманием.

Однако этот рассказ эмоциональнее других.

Это история страданий и гонений; в конце ее старик склоняется перед своим алтарем и разражается обильными слезами.

Это плач старого священника, символизирующий плач всей Русской Церкви об опоганенных алтарях, об оскверненных чашах, об убитых или сосланных священниках. Мне чудится голос всех жертв революции, епископов, священников и мирян, и вопль отчаяния всех душ, утопающих в материи.

У всех на глазах слезы; мне на уста приходит молитва, в которой я прошу Господа принять мученичество этих Его рабов ради возрождения Церкви, осененной в веках столь великой славой.

Мы оставляем ему жертву на храм; потом даем ему понять, что отныне мы друзья.

— Завтра приду опять.

Первая ночь, проведенная над русской грамматикой, конечно, дала лишь весьма скудные результаты.

Но все же какой-то результат есть.

Назавтра я передаю священнику церкви села
Калина это письмо:

“Дорогой друг и собрат! Я тоже священник,
но принадлежу Римской Церкви. Я понял кое-что
из того, что вы сказали нам вчера, но я был бы вам
благодарен, если бы вы могли повторить для меня
всё в письменном виде; со временем я переведу
это на свой язык. Ответьте на следующие три воп-
роса:

1) Какова история Вашей жизни?

2) Каково ваше нынешнее юридическое по-
ложение?

3) Что вы думаете о Папе Римском?

Если вам что-нибудь нужно, дайте мне знать”.

Солдат, который относил ему мою записку,
сказал, что тот поцеловал ее, а потом, вопреки
моему желанию, не захотел возвращать ее, оправ-
дываясь тем, что оставит ее себе на память.

Затем, взяв бумагу, которую я послал ему, он
ответил мне на четырех страницах, исписав их
убористым почерком.

Вот они передо мною; о чем же они пове-
дают?

В начале — сердечнейшие слова:

“Дорогой брат и друг! Я благодарю небеса за
то, что они послали мне брата и друга, и сохраню
вечную признательность вам и в эти последне

дни моей жизни, и за ее пределом, за вашу доброжелательность и дружбу.

Вы хотели узнать что-нибудь обо мне, но прежде я должен сообщить вам, что болен и не всегда могу писать.

Меня зовут Василий Степанович М., я родился в 1873 году в Полтаве...

(Тут я делаю вывод, что письмо содержит повторное изложение последних происшествий из его жизни и решаю попросить моего корреспондента описать их более подробно. Завтра напишу ему второе письмо и пошлю тетради — А. Д. М.).

В эту Церковь нас вернули немцы, и теперь каждое воскресенье мы возносим молитву об освободителях.

Еды у нас немного, одежды еще меньше; копаемся понемножку в огороде. Сейчас над нами епископ Киевский, но мы все еще очень бедствуем.

Папу Римского мы очень почитаем, потому что он делает много добра во всем мире.

Нам нужно все, потому что мы нищие. Но я привязался к вам за вашу дружбу. Скажите мне, где вы живете, и я навещу вас».

Во втором письме я пишу ему:

“Мой добрый друг! Благодарю вас и посылаю вам второе приношение на храм. Я очень рад знакомству с вами. Поскольку ваша история очень интересна, мне хотелось бы познакомиться с нею

Также моих друзей, поэтому прошу вас написать мне, как можно пространнее, о том, что произошло в вашей жизни, начиная с 1917 г.

Посылаю вам тетради.

Пожалуйста, постарайтесь сделать эти записи поскорее, потому что мы можем сняться с места в любую минуту. Я вознагражу вас, как захотите — не только за услугу, которую вы мне оказываете, но и по любви к вам и к вашей бедной Церкви.

Всего вам наилучшего. Ваш друг и собрат”.

Мой друг с большим вниманием отнесся к моему предложению.

На несколько дней он перестал копать картошку и превратил свою комнатку в кабинет.

Вчера я послал ему еще пятьдесят марок.

Всем, кто заходит к нему, он рассказывает о задании, полученном от меня, и об истории, которую он пишет.

Вчера через проезжего полковника он направил мне это приглашение:

“Дорогой друг! Через два дня захожу за вашими тетрадями, я их закончил. Если бы мне был известен ваш адрес, я сам бы вам их отнес. Жду вас”.

Истории православного священника Василия Степановича М. ни в оригинале, ни в первом переводе у меня больше нет.

Мне пришлось бросить ее, в числе других самых дорогих вещей, в дни трагедии.

Я хранил ее как реликвию: не отваживался никому посылать ее, боясь, что она пропадет, и держал ее в тайном месте, опасаясь, как бы кто-нибудь ее у меня не похитил.

И вот она осталась там, погребенная, может быть, под слоем снега или под обломками избы, как прежде она была погребена в сердце своего старого автора; и это еще один голос, который из тени смертной *clamat ad Deum**.

В своем письме к одному другу я нашел пересказ этой истории. Привожу его ниже.

«Прочти рассказ о превратностях судьбы старого православного священника и увидишь, как истекает кровью эта старая Россия, над которой, кажется, донныне тяготеет проклятие Распутина.

“Я, Василий Степанович М., сын священника о. Стефана, родился в Полтаве в 1873 г. Получил образование в духовных учебных заведениях моей родной Полтавы, а затем — Киева.

Я нес духовное служение в одной из церквей моего города, затем в деревне, затем в киевской церкви, и стал протоиереем.

У меня был сын. Я занимался, в числе прочего, исследовательской работой, преподаванием в учебных заведениях и проповедничеством. В 1917 г. сына у меня забрали, и он умер насильственной смертью...

Вначале религию не запрещали и разреша-

* Вывает к Богу (лат.).

ли вести публичные дискуссии. В те дни я участвовал в диспутах на площадях, доказывая, что Бог существует и что религия свята. Но когда увидели, что народ признает нашу правоту, начали закрывать храмы, издевательски пародировать религиозные обряды, устраивать "крестные ходы" с участием животных, наряженных священниками, ильменясь над нашими святынями. Если постепенно увеличивать налоги для всех, кто ходил в церковь молиться, и довели их до огромных сумм. Я, например, должен был платить непомерную сумму, 1800 рублей, и при этом я вообще не зарабатывал, хотя люди тайком мне помогали.

А потом им вообще не захотелось больше нас видеть, и они начали переделывать храмы в таверны или в клубы.

И почти все священники были посланы на тяжелые работы или подверглись гонениям.

Я тогда оставил священническое служение и стал работать на себя. Но они забрали меня и заставили работать на государство. Я выполнял свои священнические обязанности втайне; но они узнавали об этом, забирали меня, сажали и судили.

Так, в трагических перипетиях, прожил многие годы; когда меня взяли в последний раз, мне уже не удалось выйти на волю. Меня посадили в одну камеру с двумя большевиками; они измывались надо мною и били меня беспощадно, пригов-

вая, что я должен покончить с церковными делами и стать таким же, как они...

Однажды в камеру зашел другой большевик, новый, задал обычные их вопросы, а потом вырвал мне, один за другим, все волосы из бороды. «Еще чем уйди, он раз пять-шесть ударил меня складом ружья по голове и бросил полумертвого. Кто-то пришел и вынес меня оттуда. Я прокал в постели полгода, все это время скрываясь, и вылезился, но не совсем. Я не могу больше совершать богослужения, потому что внезапно теряю сознание и перестаю что-либо понимать. Я пролил кровь милой любовью верующих и молил Господа, чтобы Он позволил мне умереть: тогда бы я никому уже причинял беспокойства.

Теперь я вернулся сюда, в свой храм, который был весь осквернен и опустошен. Но я больше не буду сторожем при церкви. Батюшка тут моложе меня; он будет держать меня при себе, пока мы оба не умрем от голода. Потому что теперь деревня и окрестности — рабочий центр: веру здесь разрушили, и люди больше не молятся».

После получения рукописи мы еще раз навели его как-то в воскресенье, во время службы.

При пении "Агнец Божий" он торжественно вышел из алтарной части и подошел к нам, прощая мне благословенный хлеб мира. После гургии мы передали ему последнее пожертвова-

ние, и он, взамен, пообещал переписать для нас ^{наши} полюбившихся нам литургических песнопения.

Больше мы с ним не виделись.

Накануне назначенной встречи пришел ^{вне-}запный приказ переправляться на другое место: ^{мы} проходили мимо церкви, но не могли зайти к нему, потому что была поздняя ночь.

Я проделал тот же путь полгода спустя, направляясь на грузовике в госпиталь, уже после ранения. Когда мы подъехали к мосту, я попросил притормозить и с большим усилием повернулся в сторону Церкви. Все было закрыто: колокола уже не было, храм опять стоял печальный и безмолвный, как несколько месяцев назад. Я почувствовал, как комок подступает к горлу.

Еще несколько минут, и русские вернутся в Калинин; что будет тогда с Церковью и с моим старым другом?

В тот момент я вспомнил его последнее ^{пись-}мо, которое получил в ноябре (письма Василия Степановича находили меня и в Кантемирове).

Это был вопль человека, в которого уже вцепилась мертвой хваткой трагическая русская зима, вопль отчаяния, мольба о помощи. Далекое ^{бы-}вшее, унесенное событиями, я мог лишь вспоминать его в молитвах. Вот что он писал:

“Дорогой отец, друг и брат!

С тех пор как вы уехали, у нас больше не было ни минуты радости и утешения.

Наша Церковь заброшена: никто больше не приходит молиться, а те немногие, кто приходит, уже ничего не знают о Боге.

Мы здесь одни, настроение у нас подавленное, иногда подступает отчаяние. К тому же скоро зима.

Дорогой мой друг, я вам еще не говорил об этом, но есть нечто, кроме куска хлеба, в чем мы нуждаемся особенно сильно: рубашка, пара башмаков и пальто на зиму.

Здесь ни у кого ничего нет; да и купить нигде. Мы изобилуем голодом, холодом и страданием. Никто нам не помогает.

Часто я думаю, что жизнь слишком грустна, и ропщу на Бога. Порой хочу даже покончить с собой. Дорогой друг и собрат, помогите мне вы. Ведь однажды утром колокол зазвонит зря: люди придут в храм и найдут нас мертвыми.

Пришлите мне что-нибудь из одежды и пару обуви, я готов заплатить, что следует. Господь видит, что вы творите милость”.

Письмо это я не показывал никому: решил, что лучше будет сохранить его в тайне; однако сто двадцать марок, на приобретение самого необходимого из одежды, отложил.

Но как добраться до Горловки? Какие-то вещи я отправил, и они ехали в сторону бедного церковного домика в Калине; но вот получил ли их адресат?

Альдо Дель Монте. КРЕСТ НА ПОДСОЛНУХАХ

Через несколько дней буря охватила в этот район, переворачивая все на своем пути.

Не знаю, жив ли ты еще, мой старый друг, на чьем лице запечатлелись следы перенесенных страданий.

Скорее всего, буря смела тебя, когда ты шел, без обуви и без пальто, на запад, в поисках спасения.

Но твоя жертва — это символ.

Не сама ли твоя Церковь, бедная, холодная и голодная, до сих пор взывает о помощи к Западу?

Мой старый друг, в чьих глазах застыла драма твоей Церкви, ты покоишься, должно быть, где-то какого-то из наших военных кладбищ. И вот, в твоей жертве и в жертве тех, кто спит рядом с тобой мирным сном, заключено величайшее и вернейшее предзнаменование возрождения твоей Церкви и твоего народа.

Однажды снова распахнутся врата, которые ты охранял: и твой колокол вновь призовет народ с высот; на жатву, на ниву жизни.

ТЫЛОВАЯ ЖИЗНЬ

Всего-то две недели прошло, как мы в России, но нас, наверно, не узнать.

Мы уже окрашиваемся в цвет этой пыли, приобщаемся суровости войны и, как нам кажется, даже

перенимаем какие-то черты русского характера. Закон приспособления к окружающей среде тяжким грузом ложится на нас. Я уже чувствую, как он действует в моей душе.

А мои люди?

Поэтому я их и собираю вокруг себя.

— Завтра я буду особо молиться о маме Ч.; приходите все на мессу. Послезавтра — праздник Святого Сердца; мне нужно сказать вам кое-какие важные вещи. Кстати, не хотите ли, по такому случаю, подготовиться к святому Причащению?

Но, несмотря на эти усилия, что-то новое входит в нас. Хорошо это или плохо? Мы не знаем.

— Давайте, конечно, смотреть вокруг, дорогие ребятки; пусть глаза наши будут открытыми и сердце чутким. Однако не будем забывать наших далеких родных и близких, которые молятся о нас, и не станем изменять своим привычкам и особенно — своим убеждениям. Может быть, и у русских, и у немцев не так уж много такого, чему мы можем научиться. Давайте же наберемся мужества, чтобы быть самими собой!

Впрочем, я чувствую, что и моя жизнь, по образному выражению Честертона, стала немножко похожа на дом Бэкона, где ворвавшийся ветер перевернул все вверх дном. Из семинарии в казарму, из казармы — на войну в Россию. Господь мой, всё настолько изменилось внутри меня, что я сам себя не узнаю; всё зыбко; я заглядываю в новый мир. Он уже мой, но я к нему еще не привык.

Возьмем, к примеру, вчерашнюю встречу с той женщиной. Я поймал себя на странной молитве: - Господи, вынуди ей больше не показываться рядом с лагерем, иначе придется употребить строгость... -

Часто моя мысль ищет утешения в милых картинах из жизни семинарии, где мне хотелось иметь комнатку, обращенную к солнцу.

Но где теперь мой дом, моя Церковь, моя скиния? Уже не знаю. Палатка оказалась такой хлипкой, что ветер сбросил ее на землю; затем вода довершила дело, и мне пришлось менять пристанище. Я перебрался в убогую клетушку, которая выполняет также роль склада. В пять утра, за два часа до подъема, уже светит солнце.

В это время суток я внутренне ближе всего к своему прошлому. Когда у меня есть возможность совершать святую мессу в одиночку, я выбираю именно эти часы, когда все еще спят.

Как прекрасна литургия мессы, в лучах восходящего солнца, которые светят в лицо.

*-Introibo ad altare Dei, ad Deum qui laetificauit iuventutem meam -***

У меня такое чувство, будто я впервые открываю для себя этот стих.

*- In Domino renouabitur ut aquilae iuuentus ****

* Ср. 2 Кор. 13, 10.

** "Вхожу в алтарь Божии, к Богу, который исполнил радость юности моею" (лат.)

*** "Обновляется, подобно орлу, юность моя" (лат., ср. Пс. 102)

“Господи, когда я поднимаю Хлеб жизни, дух мой молит Тебя даровать мне крепость Твоей веры, — единственной несомненной победы над миром. Когда же я поднимаю чашу, то прошу Тебя даровать мне радость Твоей благодатной жизни и наполнить меня навеки Тобою”.

Затем, по окончании мессы, — моя молитва:

“Господь, дай мне всегда лицезреть Тебя так, как сейчас, — даже там, где торжествуют ненависть и материя.

Помоги мне находить Тебя и тогда, когда я иду по лесу, или шагаю по брусчатке мостовой, или нахожусь в столовой или в спортивном лагере со своими солдатами.

Убереги дух мой от гибели в этом бурном море; дай мне до конца разделить с моими братьями их Голгофу, не сходя с тропинки, которая ведет к Тебе”.

Задачи на день те же, что и вчера: спокойствие, безмятежность духа, принципиальность в мыслях и в поведении.

Звучит сигнал к подъему!

Сейчас поднимется вихрь. На часах 7.

Немецкий фельдфебель Дура заходит к нам, когда офицеры занимаются своим туалетом, и клянется, что фон Клейст идет на Сталинград и что через месяц война закончится.

Альдо Дель Монте. КРЕСТ НА ПОДСОЛНУХАХ

Все мы знаем, что он мастер рассказывать басни!

8 часов

Солдат выходит из лагеря за молоком; на самом деле у него свидание... с русской девушкой!

9 часов

Приходит майор санитарной службы произвести осмотр лагеря: он заявляет, что палатки все еще стоят не как надо. Мы отвечаем, что, расставляя их, мы стремились не столько к симметрии, сколько к соблюдению гигиенических норм. Он теряет терпение и говорит, что уважение к гигиене не имеет ничего общего с законами войны...

10 часов

Следовало бы съездить за водой, которая нам очень нужна.

Но в машине нет бензина, и даже если бы он был, некому ее вести. Кроме того, даже при наличии бензина, и водителя, нам все равно пришлось бы остаться без воды, потому что у нас нет емкостей для ее хранения.

11 часов

Хлеб по-прежнему замешан на грязи. Сегодня фармацевт сделал анализ сахара и обнаружил, что он содержит 20% хлорида натрия.

12 часов

Обед запоздает минут на сорок пять, потому что еще не вернулись ответственные за закупку продуктов.

13 часов

Будем надеяться, что Г. не затеет разговор о чистоте молодой природы. Сегодня Ницше для меня невыносим.

14 часов

Появляется почтальон! Для нас почты нет. Один говорит: "Давайте его поменяем". Другой: "Дадим ему еще денек".

Б.: "Завтра я сам с ним поеду: такое лицо и такие повадки, как у него, несовместимы с его службой. Здесь почта — дело серьезное! Или приносит, или не приносит..."

15 часов

Проходят маршем солдаты командира Х. Как же жалко эту часть Х.!

Их командир — неумолимое чудище. Офицеры попросили капеллана отслужить особую мессу: чтобы он обратился или... умер!

16 часов

Святой Пантелеймон, покровитель врачей, сделай так, чтобы доктор Б. продолжал

спать; или, по крайней мере (если уж непременно надо, чтобы он проснулся), угаси в нем желание играть в бридж.

17 часов

Мы истязаем ржавый приемник в надежде поймать радиостанцию "Харьков". Поймали, но толку нет: о боях с участием итальянцев не сообщается.

18 часов

Полковник зовет капеллана.

В лесу погиб артиллерист. Его испепелил ток высокого напряжения. Опознать его не удастся. Я прихожу: час, как он умер. Мы молимся об упокоении души усопшего.

Ночь

Что означают эти ночные перестрелки у кромок леса?

После отбоя лес вдруг огласился оглушительный рокот машин. Пехоте приказано выступать.

В 22 часа колонны должны уже начать движение. Куда же они направятся?

Б. с явным намеком начинает насвистывать
Песнь о последнем рубеже.

В молчании мы наблюдаем за бесшумным построением войск. Тяжеленные рюкзаки, артачащиеся мулы, грузовики, выставяющие морды посреди шеренг.

Осторожно, мне надо повернуть.

До 22 осталось 20 минут.

Первый батальон вперед!

Третья готова?

Где командир *третьего*?

Люди бегущие, люди ждущие, люди, что-то забывающие...

Командиры части нервничают; лейтенанты пребывают в крайнем возбуждении; полковник, с часами в руке, беспокойно ходит у своей машины.

Ну вот, 22 часа: звучит труба, первый батальон отправляется. По брусчатке грохочет мерный шаг колонны на марше.

Мелодраматическое действие!

Наконец раскрыта тайна выстрелов в лесу.

В полседьмого в лагере поднялся крик. Дежурный сержант с перекошенным от волнения лицом подал сигнал тревоги.

— На нас напали!

Удивление, страх, смятение. Когда нападают так, внезапно, сердце подскакивает к горлу и безумно хочется куда-нибудь убежать, хотя бы для того, чтобы отдышаться.

Все вооружаются до зубов, бросаются на землю, занимая оборону или готовясь к атаке.

По-моему, эти действия унижительны.

Если бы я послушался своего инстинкта, я был бы уже с ними. Но я говорю про себя: где мое место? Должен же я видеть, в кого попадет пуля!

Конечно, если я так и буду стоять, первым укошат меня. Как страшно! Помоги мне, Господи!

Два русских солдата уже метрах в двадцати. Увидев, что наши залегли с нацеленными на них ружьями, русские быстро укрываются за деревьями и занимают такое же положение.

Почему никто не стреляет?

Может, это шутка?

Ничего себе шуточки! Подбегает заляхавшийся почталыон. Бросаясь на землю, он кричит: "Русские, русские!"

Он только что из лагеря. Там кто-то уже стрелял: отряд X забаррикадировался в казарме и готов открыть огонь из окон.

А мы?

— Вон два русских спрятались, — кричу я сержанту, лежащему у моих ног. И указываю рукой на двоих людей, которые залегли неподалеку.

Но в тягко нависшей тишине раздается крик: "Ахтунг, ахтунг!"

Откуда-то выбегает немецкий офицер:

Все разъяснилось: это была учебная атака украинских войск, которые вскоре будут брошены против русских. Нервное напряжение сменяется чувством негодования.

Но скоро и оно проходит.

Если бы вся война в России была такой!

Последние новости нехороши.

Мы замечаем, что с занимаемых нами позиций нам не удастся увидеть войну в правильном ракурсе.

Чтобы понять, какова она в целом, мы слишком близко – рокот машин и клубы пыли притупляют слух и ослабляют зрение.

Чтобы познакомиться с ней подробно, мы слишком далеко: двадцать, тридцать, сорок километров от линии фронта не дают возможности рассмотреть детали.

Мы в нейтральной зоне: не видим, не действуем, не можем потрогать руками; и это нас нервирует.

В столовой разговор становится более оживленным.

– Что лучше – следовать за войсками или оставаться в тылу, выполняя функции госпиталя?

Трое придерживаются мнения, что для лечения больных и раненых больше подходят тыловые позиции; молодежь предпочитает передовую.

– Это жизнь опасная, но более наполненная.

Однако у нас нет точных известий о происходящем на фронте. Мы знаем о маневрах фон Клейста, но лишь в восторженной интерпретации фельдфебеля Дура.

Кое-какие слухи о наших солдатах доходят до нас через водителей.

Сотнями проезжают наши автомашины, в непрерывном стремлении к передовой. Оружие, боеприпасы, провиант — нескончаемый поток богатств, который каждый день заплатает война.

— Откуда едешь?

— Из Рыково.

— А ты?

— Из Ворошиловска.

Ворошиловск и Ворошиловград — последние названия, о которых нам стало известно. Итальянцев уже задеиствовали в преследовании русских. Передовая перемещается на Восток. Русские как будто разгромлены. Война заканчивается.

Интересно, почему мы стали такими скептиками? Я замечаю, что надежду у меня уже никаких нет.

Фронт движется к Волге.

— Вот скажи мне, Б., тебе не кажется, что мы как-то чересчур далеко уходим от дома и от баз? А если русские, когда мы, скажем, заберем в Астрахань, задумают появиться в Ростове? Неприятная получится шутка, правда?

Мой собеседник согласен, что шутка получилась бы жутко неприятная; но вообще-то он в этом не очень разбирается.

Кроме того, в нас все крепче убеждение, более того — мучительная уверенность, что справедливость нельзя вершить несправдливостью.

Мы, итальянцы, в 5000 километрах от родины, приобщаемся к кровавой жертве, которая приносится в степи, где отвергаемый Бог творит Свое правосудие. Русские искупают свои отречения, немцы — свои, а мы — свои.

Приказ выступить ночью не пришелся бы по душе никому. Но именно поэтому все его ждут и спокойно готовятся.

Пойдем или поедем?

И куда?

Будет ли это перемещение последним?

Может быть, нас ждут в Ворошиловграде?

Вот уже четыре дня, как приходят, а затем отменяются приказы. Но сегодня вечером вопрос был решен окончательно.

Прибыли сорок восемь грузовиков; надо загрузить их как можно скорее; едем в Кантемировку.

Солдаты кидают ящики в кузова и кричат: "Кантемировка".

Где Кантемировка?

Никто понятия не имеет. Наконец, находим карту, масштаб 300000.

Вот она, рядом с Россошью, на железной дороге Москва—Ростов, в нескольких десятках километров от реки Дон.

Все — в тревожном ожидании отбытия.

При погрузке мы производим дьявольский шум.

Эти погрузочные операции стоило бы запечатлеть на киноплёнке. В краткие мгновения отдыха я смог сделать интересные психологические наблюдения.

Один офицер никак не может понять, что к чему. Он не знает, к кому обратиться: к водителю, к директору, к сержанту? Он поворачивается, возвращается на прежнее место, делает рывок, потом расканвается в этом; потом начинает все сначала, отдает неверный приказ, пытается исправить положение, чтобы спасти честь мундира, и может быть, в этом даже преуспевает, но в глубине души сознаёт, что *погрузка* — не его конек. И тогда он с достоинством удаляется, решив ограничиться поисками места на грузовике N 218.

Другой убежден, что эта работа как раз по нему: кричит, вопит, хлопочет.

Что-то не ладится?

— Давайте без суеты! Всем стоять.

И в стремлении навести порядок он создает беспримерную путаницу.

Тогда инициатива переходит ко мне, и я тоже принимаюсь за погрузку тюков вместе с солдатами.

Но весьма скоро мне приходится бросить это занятие. Однако как-то грустно: отчего в наших семинариях мы не становимся крепче не только духовно, но и физически?

Убываем. Девять вечера.

Мне полагается место в кабине рядом с водителем; но нужно оказать любезность.

— Здесь, господин Х., кабина для вас; я нашел место в другой машине.

Место мое — в маленьком автофургоне: в кабине сидит начальник колонны; я, вместе с тремя другими офицерами, располагаюсь в кузове: нас тут упаковали вместе с палаточными полотнищами.

Здесь, как сразу же выясняется, совсем несладко. Такое впечатление, что брусчатка несет на себе следы недавнего землетрясения: к счастью, падают брезент, иначе кто-нибудь вылетел бы на камни.

Если рот открыт, в опасности язык; если он закрыт, удары отдаются в черепной коробке.

Но это ничто по сравнению с пыткой пылью. На самых длинных отрезках пути дорога вся состоит из пыли: это настоящая мука.

И все же Господь нас любит. Через двадцать километров мы останавливаемся: будем ночевать в Рыково. Но где именно мы проведем ночь?

Вначале царит неопределенность; затем кто-то сообщает, что офицеры приглашаются в частный дом.

Женщина и две девушки принимают нас. Кто они такие? Почему мы — у них? Откуда такая бурная радость?

Я силюсь понять, в чем здесь дело, но не могу найти разгадку.

Сердечность оказанного нам приема объясняется их природным гостеприимством. Или желанием снискать расположение оккупационных властей? А может, тут замешана симпатия к кому-нибудь из офицеров?

Ужин, разумеется, состоит из наших собственных припасов. Несколько ломтиков колбасы, немного хлеба и фьяско вина.

Потом — песни и музыка. В доме есть фортепиано, и играть на нем должен я.

От этого мне немножко не по себе. Но ситуация такова, что или я ею овладею, или они. Здесь девушки, офицеры, начальство...

Говорю про себя: «Смелость и хладнокровие — вот амбон нового типа».

Начало *«Вечерних колоколов»* оказывает волшебное действие. Буйное поведение крайних левых элементов начинало меня тревожить: в соседней комнатке уже стали образовываться парочки. Но *полнозвучный колокольный звон* интродукции всех зазвал обратно в «гостиную». Кусочек Италии посреди русской степи, колокольня... вот колокол звенит, женщины молятся... и дети видят сны...

У майора П. слезы на глазах.

— Еще!

— Хорошо, будет еще; но скажите, господин майор, мы ведь не останемся здесь на всю ночь!*

* Оплетенная бутылка

Он понимает причины моего беспокойства и заверяет меня, что мы уйдем.

— Уйдем, когда ты нам скажешь, что пора.

Чтобы доставить удовольствие присутствующим, играю несколько вальсов. Сначала они смотрят на меня в нерешительности; потом понимают, что я твердо держу в своих руках нить происходящего. Они будто спрашивают у меня: “А попрыгать чуть-чуть можно?”

Почему я, собственно, должен им это запрещать?

“Благодарю Тебя, Господи, за то, что моими руками Ты сеешь трезвость и умиротворение. Будь это где-нибудь еще, мою душу охватил бы ужас от одной мысли о возможности чего-то подобного. Но здесь, какую бы я проявил непредусмотрительность, если бы не решился поступить именно так!”

Замечаю, что пришло время заканчивать.

Последняя вещь — дар майору: *Прибытие лебедя* с Лознгрином.

Спустя пять минут собрание завершается. Два часа ночи; в поисках отдыха офицеры расходятся по своим кабинам в грузовиках. Стоя на улице, мы с друзьями изучаем возможности размещения на ночь.

Их, прямо скажем, не много!

Одному придется спать на земле между колесами, другому — на дощатом полу кузова, а еще двоим — на боковых скамьях.

Эти места, более или менее, стоят друг друга.

Мне достается скамья: я должен быть доволен? А чем мне накрываться? И что мне послужит подушкой? А этот воздух, которым невозможно дышать?

“Господи, это — моя Гефсимания?”

Кто-то спит. Но я ворочаюсь в нескончаемой полудреме, меня терзает холод. Во сне колокольный звон чередуется с тучами пыли, которые обдадут нас при пробуждении.

Ничто на свете не причиняло мне таких мук, как эта пытка пылью.

Брезент на кузове закреплен жестко, поэтому нельзя впустить воздух, приоткрыв брезент спереди. Мы во власти пылевого вихря. Кажется, будто какая-то зловредная рука подбирает всю пыль с дороги и с силой кидает ее в нас.

Пыль в глазах, в носу, во рту, в горле. Пыль в легких, в крови, в мозгу. Голова — пыльная буря: кажется, что и душа уже задохнулась.

“Может, если покричать, будет легче?”

Нет больше сил здесь быть.

На платке — трехсантиметровый слой пыли. Мы взбалтываем кислоты, чтобы встряхнуться, но вскоре пыль берет верх и над испарениями кислот.

Никто не разговаривает: мы — как четверо приговоренных к повешению; сидим, обмякнув, на скамьях, без души, без жизни. Долго еще ждать обморока?

Чувствую, что внутри у меня колом стоит огонь.

Думаю: "Броситься вниз или крикнуть, чтоб остановили?"

Но потом говорю себе, собрав все силы: "Нет, нет!"

Идея: противогаз!

Это спасение.

Противогаз — составная часть солдатской амуниции. Но при одной мысли о том, что надо им воспользоваться, холодеешь.

Раскрываю его, натягиваю на лицо, как кислородную маску, и вхожу в новый мир.

Дышать несравненно легче, чем раньше, но все равно так трудно, что в конце концов мы совершенно отупеваем. Мы даже не знаем, где находимся.

Кому сейчас есть дело до Каитемировка?

Война и все другие проявления реальности исчезают.

Сколько мы уже проехали?

Сколько еще ехать?

Где мы?

Нас больше не интересуют эти вещи, хотя они имеют жизненное значение. Сейчас, минута за минутой, все силы у нас уходят на то, чтобы не пропасть в пыльной буре, чтобы продолжать дышать, чтобы не задохнуться...

«ЕССЕ НОМО»* ... НАОБОРОТ

В доме, где мы остановились, видны следы недавнего разорения. Кто бегал по этой лестнице двадцать дней назад? Кто оставил надпись на этой стене под знаком серпа и молота?

Повсюду вокруг дома в руинах и ямы, вырытые бомбами; подальше — взорванный мост; на пригорке — траншеи для пулеметов. Есть тут и могила советского комиссара: двое мальчишек говорят, что его убил итальянский самолет.

Закатный свет над Ворошиловградом горит пожаром. Со своего балкона я вижу весь город: толчея беспорядочно разбросанных лачуг, несколько улиц, потонувших в грязи; противотанковые ежи, оборонительные рвы прямо поперек улиц, огромные завалы из железа и цемента.

Вот улица Революции: единственная в городе, на которой сплошь стоят каменные дома; она выходит на одноименную площадь, где несут охрану два исполинских семидесятипятитонных танка.

Но этот мир, который мы попираем, и в самом деле мертвый? В техникуме наши солдаты опрокинули памятник Сталину; немцы изуродовали изваяния во Дворце спорта.

Мы жадно всматриваемся во всё в поисках нити, которая помогла бы нам раскрыть тайну.

* "Се человек" (лат.).

Действительно ли эти местные полностью заблуждаются? А правда — исключительно на нашей стороне?

И эта земля, пробудится ли она вновь? И что создало эту пустоту вокруг нас, наше оружие или воля врага?

С моего балкона видна степь.

“Господь мой, я чувствую муку раскаленной пустыни, где не осталось следов жизни. Где смогу я отыскать знак духа, голос души, движение сердца?”

“*Quid est veritas?*”

Моя душа глубоко страдает: отчасти — потому, что отважилась поставить перед собой этот вопрос.

Нет, я не сомневаюсь.

Вот я здесь, в беспросветнейшем одиночестве, гляжу на мир братьев моих грешников. Я слышу звук их голосов, шорох их шагов и созерцаю панораму их жизни.

Вот град человеческий. Весь он — земля, весь — грязь; нет здесь ни одного памятника, ни одного произведения искусства, ни одной колокольни.

Господь мой, это и в самом деле дом человека?

Я не хочу сомневаться. Но Ты, Боже, Который столь велик и истинен, почему Ты не явишься здесь? Где след Твой?

Я говорю себе: “Что же ты делаешь? Что это за мысли?” — и начинаю молиться.

* “Что есть истина?” (лат.).

Но какая-то часть меня остается там, на балконе: опершись лбом о перила, я кричу сквозь слезы "Материя, сколько материи, сплошная материя!"

О, моя семинарская келья!

Вот уже два дня, как из моего сердца вырываются вздыхания: молитвы, похожие на крики души.

"Господи, положи мне руку на голову."

Я же не просил Тебя дать мне увидеть то, что я вижу. Или все же просил, когда молил о встрече с моим братом-грешником?

Не знаю, не знаю!"

Внутри дома — полный разгром: в воздухе носится пыль и строительный мусор; что же останется от старого, от того, что дорого мне?

"Останься здесь хотя бы Ты, Господи!"

На улице Ленина девушка по имени Люба говорила с моими солдатами об атеизме.

Вчера вечером я пошел к ней с ними. Мне хотелось пообщаться с ней, чтобы познакомиться с ее образом мыслей. Она с любопытством смотрела на меня, улыбаясь, а у меня в голове сразу скопилось тысяча аргументов, которые я мог бы пустить в ход, чтобы убедить ее в существовании Бога.

Но тут ничего не сделаешь.

Нет даже возможности вести разговор. Она совершенно не допускает, что я способен ее понять. Думает, что я все еще переживаю кризис.

подобно всем людям с Запада, потому что чувствую томление духа. Она же уже преодолела этот этап и достигла счастья. Она стала жрицей жизни. Мы для нее — вроде зулусов, подлежащих искуплению; этакие бедные, несчастные борцы с благодатью.

Что произошло в воскресенье рядом с аэродромом?

Один из наших водителей приехал оттуда в ужасе: у него перед глазами еще стояла трагическая картина. Сказал, что на немцев больше смотреть не может: они провели массовую казнь евреев.

А сейчас жизнь идет по-прежнему, словно ничего не случилось.

Задержано несколько шпионов.

Две женщины и мужчина.

Мужчина — инженер; из женщин одна — агроном, другая — учительница.

Во время допроса они проявили поразительный цинизм.

Их приговорили к смертной казни, которая назначена на завтрашнее утро. Сейчас они сидят в комнате, под присмотром солдата.

Я заходил к ним, — рассчитывал внушить им хоть какие-то добрые чувства. Никакого успеха.

Они спокойны и безмятежны: ни о чем не сожалеют, ни в чем не раскаиваются; даже анекдоты друг другу рассказывают. Дрожа, я сказал им: «Вы же знаете, что завтра утром вас казнят!»

— *Nicevó!*

Два немецких офицера поведали нам о величии германского *сверхчеловека*.

— Церковь не смогла оцепить силу немецкой мысли.

Нивелировка человечества на основе самых скотских инстинктов. Кто побеждает, тот прав. Человек должен быть верен земле, природе; и так, путем естественного отбора, в ходе которого сильнейшему удастся взять верх над слабейшим, подобно тому как от обезьяны произошел человек, от человека произойдет *сверхчеловек*.

Ненависть есть нечто божественное, поскольку она — сила, посредством которой происходит отбор.

Меня пугает человек XX века. Не тот, которого я вижу страдающим на улицах этой страшной, кровоточащей Голгофы, но тот, что верховодит, тот, что хочет диктовать закон.

Человек металлический, в белых перчатках, потерявший способность плакать, любить, думать; не имеющий больше ни лица, ни личности.

Два самых характерных типа, по-моему, - немец и русский.

Один уничтожает мир вне себя, других; другой уничтожает мир внутри себя, свое «я». И все же, наверно, нравственнее русский, потому что он принижает себя ради братства, в то время как немец истребляет других, чтобы возвыситься.

Немец внушает нам страх: он смотрит на мир, движимый инстинктом ненависти. Он создает бога себе по нраву и обращается с ближним, как с рабом. Жизнь — оргия чувственности; история — продукт диких инстинктов. Неощутимо он стал глухим к самым человеческим проявлениям природы, окаменел до неумения растрогаться, расчеловечился до того, что счел себя скотом.

Русский же, если он и в самом деле таков, каким показался нам во время этих первых встреч, подвигает нас к состраданию.

Это человек, который отчаянно боролся за спасение хотя бы части того, что западный индивидуализм хотел уничтожить. Подобно Достоевскому на улицах Петербурга, он остановился взглядом, полным любви, на всех униженных и оскорбленных; и, вместо того чтобы допустить эксплуатацию человека человеком, предпочел (может быть, бессознательно) уравнивать в материи все человечество — в соответствии с детерминистской теорией.

Поэтому он отказался от дома, от жены и (что кажется чудовищным) от детей. Грозным гласом призвал он всех к труду: ничего не получать, все отдавать. Труд — единственное богатство человека; и он же — единственная его заслуга.

«Ессе homo».

Се человек наоборот — предстающий в трагическом зеркале его отречений: мученик нового, перевернутого искупления. Изменилось толь-

ко направление: вместо того чтобы созидать, роют котлованы, вместо того чтобы подниматься, падают в бездну; но пропорции остаются теми же.

В нынешнем веке горизонтальной цивилизации большевизм является выдающимся событием и самым героическим завоеванием. У него есть одна неоспоримая заслуга: то, что он логичен; логика эта безжалостна, но безукоризненна.

Здесь я не могу скрыть свою симпатию к логике большевизма: в то время как многие притворяются верующими, а в действительности безнравственны, непорядочны и исполнены скептицизма, большевизм доводит до логического конца выводы из заблуждений многих людей, побеждая общие сомнения, чувства и страхи.

Или Бог есть, или Его нет.

Если Он есть, из этого должно вытекать существование человека-христианина, который:

молится,

любит,

нравственен,

сохраняет порядок,

является отцом, гражданином, мужем, другом,

признает первенство духа над материей,

заботится больше о душе, чем о теле,

живет на земле, но в конечном счете оказывается на небе.

Если Его нет, пусть человек возвращается в животное состояние:

живет инстинктом,
не задумывается о нравственности,
рождается, как животное, и, как животное,
умирает: безжалостно уничтожая все то, с чем
платились у него под ногами века, общественные
институты и Церковь.

Так что долой дом, долой семью, долой ро-
дину, долой дружбу, доброту, порядок, достоин-
ство, воспитание, искусство, духовную красоту:
он пребывает на земле только как существо по-
требляющее и, соответственно, как существо
производящее.

Он рождается от акта скотской похоти и умн-
рает с распадом составляющих его молекул — рас-
сыпаясь, как ком земли, из которого вырвали цве-
ток.

В избе под номером 17 по улице Красного
Октября умер мужчина. В доме остались женщи-
на, две девочки и юноша.

Он умер вчера вечером, а сегодня утром его
похоронили.

Паренек положил его, в том же виде, в ка-
ком он скончался, на телегу; женщина и девочки
шли в траурном кортеже, о чем-то переговарива-
ясь.

У каждого была лопата, и на кладбище они с
трудом вырыли яму, меж тем как их нетерпели-
вая лошадь все норовила ускакать с трупом, остав-
ленным в телеге.

Потом они опустили тело в яму и присыпали его сухой землей. Мальчишка нервно отодвинул ноги покойника, чтобы еще немного покопать, — аго виднелись башмаки.

Под первыми шероховатыми комьями кепка свалилась с головы и наполнилась землей: казалось, что человек, в этакую жару, хочет даже там, внизу, немного продышаться.

Мои солдаты обескуражены.

Где же душа? Почему не вырвется из этой могилы протестующий вопль духа, задавленного материей, — теперь, когда он избавился от бремени тела?

Я хожу по улицам, ведущим к Донцу, в поисках пустой избы, развалившегося дома, деревянной лачуги.

Мне нужно любое строение, лишь бы оно было рядом с населенным пунктом, а еще лучше — с нашими казармами; и чтобы там была комната, пригодная для проживания. Внутри мы все приведем в порядок сами. Мне придана группа солдат для обустройства *Церкви*. Как можно жить без Церкви?

Или мы должны соорудить ее вообще *ex novo*? Вычисляем размеры, изучаем место, собираем материал, набрасываем проект.

Ночью я не сплю. Мне грезится храм на улице со множеством школ и слышится звон колокола. Все

¹ Заново (лат.).

люди при этом звуке вздрагивают: детей разбирает любопытство; старики плачут от умиления; другие бегут в Церковь и удивляются, впервые в жизни, что смогли так долго жить, никуда не ходя молиться.

Итальянцы, немцы, румыны и русские смешиваются в одной молитве и в одной вере...

Кто-то стучится в дверь.

Это голос войны! Трое русских детей, страшно обезображенных взрывом мины. Наверно, спали где-нибудь в поле; что еще им делать на улице в такое время?

У одного разорван живот, и он из последних сил сдерживает руками кровь, льющуюся потоками: ему осталось жить несколько минут.

У другого оторваны руки: культями он пытается потрогать свои волосы; все лицо в крови, глаза — в огне.

Третий, должно быть, ослеп: его лицо — сплошной сгусток крови. Это живой человек, утопающий в запахе крови: что еще есть живого на свете?

Возможно, у них нет мамы; но даже если она у них еще есть, они не смогли бы получить от нее более нежную заботу, чем от нас. Солдаты поражены так же, как если бы несчастье случилось с их братьями. Дети показывают и говорят, что они благодарны: это голос человеческой доброты; он еще звучит, пусть робко, на задворках войны.

По всей видимости, наши солдаты уже закрепились на берегах Дона. Это был адский марш-бросок, преследование на протяжении тысячи с лишним километров. И почти все время на своих двоих.

Кто способен оценить мученичество пехотинца?

По раскаленным дорогам, в пыли, с вещмешком за плечами, вперед на восток, все дальше от дома.

Опасности наступления, страшные сцены вражеского отступления, лишения из-за перебоев в снабжении, где-то застрявшая почта, всё более мрачные виды на будущее.

Каждый день сорок километров!

День, два, три, десять, двадцать. Потом, однажды утром, у солдата кончаются силы и терпение. Если бы его мама знала, что это за жизнь: ни переодеться, ни помыться, ни отдохнуть на привале! Дома у него было неладно с легкими — и врач велел не потеть слишком сильно. Сейчас он мокрый от пота, его легкие забиты черной пылью; ночью он спит на земле, так и не просохнув. Никто не спросит: «Как ты себя чувствуешь?»

Он должен стать наглым, чтобы не с-статься с пайком или с порцией воды, чтобы отдохнуть минутку. Но что его жизнь рядом с войной? Разве кто-нибудь будет считаться с потребностями его тела, когда идет столь маш-

табное и неотложное развертывание военных сил?

С кем ему говорить? Кто его поймет? Кто ему поможет? Сейчас солдат проходит через свою первую *Гефсиманию* на войне; сейчас ему становится ясно, что он как личность ничего не стоит. Он — капля воды в океане, он обезличен; его задача — механическая: держать винтовку и стрелять.

И ничего больше.

Конечно, у него есть друг; но приходит минута, когда и другу не до него — он погружен в свои мысли. И тогда солдат глядит назад; и сквозь наворачивающиеся слезы видит мать, свою девушку, свою землю и родных, которые ждут.

Почему они не пишут?

Если бы они только знали, каково ему!

В поношенную портянку он с нежностью завернул первые письма, полученные из дома.

Где они?

Он берет их и перечитывает; глаза распухают от слез. Потом, когда он уже совсем близок к отчаянию, к нему на уста приходит молитва: «Матерь Божия, помоги мне вернуться!» И он осеняет себя крестным знаменем.

Он и в самом деле так больше не может, но — вперед зовет *такая наша служба*. С этими бессмысленными, в сущности, словами он ныряет внутрь себя, в кладезь сокровенных душевных сил, и через минуту запекает снова в пыли, под солнцем.

А мы тем временем сделали свой выбор.

Мы — это обычный дивизионный госпиталь, и нас передали в распоряжение Армии. Однако мы изъявили твердое желание отправиться на передний край.

Поближе к схватке, поближе к тем, кто погибает.

Вчера пришли плохие вести.

Близ Кариновской дивизия С. была контратакована: с фронта поступают противоречивые слухи. Но ясно, что дела обстоят неважно. Вот и первые санитарные машины с ранеными.

Все бегут посмотреть.

А я — нет. Чувствую, что час испытания близок, и этого мне достаточно. «Господи, помоги мне в час испытания».

Все немного возбуждены и взволнованы.

Нужен ли госпиталь на передовой? А где идет бой? Кого именно вызовут? Кто уедет?

Приказ к убытию.

“Части X прибыть в Кашары в кратчайшие сроки. Немедленное развертывание”.

Идет сражение.

ЭШЕЛОН СМЕРТИ

Опять в машине, опять в пыли.

Опять на кресте — проливать кровь: по этим бескрайним дорогам, по этой бесконечной степи.

Все время одно и то же небо, одинаковые дороги, неотличимые волнообразные пейзажи, незаметно перетекающие друг в друга: такое впечатление, что мы стоим на месте, никуда не движемся.

Донец едва приоткрывает глаза на заре. Эта река подобна испуганной раненой твари: после того как рухнули мосты, она затаивает берега среди балок и сдерживает дыхание своих вод, чтобы ее не услышал враг.

Пятьдесят моторов гудят на безмолвных трассах: шоферы хорошо знают эти края.

Чудной народ эти шоферы. Никто еще не написал их историю, хотя она полна приключений. Кабина — их дом; и они со спокойной душой возят его с собой, от самых безопасных тылов до самых грозных участков передовой. В один и тот же день, например, они могут сначала гулять в Дебальчево с девочками, а потом, на Дону, храбро и ловко уходить от большевистских обстрелов.

Сегодня они утопают в грязи, а назавтра задыхаются в пыли.

И ничему не удивляются.

В них уже пустила корни русская премудрость: *ничего* — «не беда и вперед». Это слово, исполненное таинственной религиозности, стало для них программой жизни.

Чего они не перевидали, чего не испытали: они — хозяева степи, друзья трасс; и даже те до-

роги, которые другим внушают страх, у них вызывают особый, только им понятный интерес. Они самовластно сжимают руль и, кажется, вступают в диноборство с духом степи, которого хотят одолеть любой ценой. Невольно представляешь их себе людьми жесткими, под стать моторам; но нет — в глазах у них то и дело проступает печаль, и на кабине кто-то из них написал: "Я вернусь, мама".

Трасса — все тот же ад из пыли и солнца. У Миллерова земля, кажется, еще кипит от недавних боев.

Не пора ли нам остановиться подышать?

Да, так полагает и начальник колонны: приказано всем тормозить.

Десять минут не выходить из кабин: дать дыли улечься, ошеломленности — пройти, тишине и чистому воздуху — вернуться.

Теперь мы можем посмотреть друг другу в лицо: узнать никого нельзя; опознаём знакомых по голосу. И радуемся встрече, потому что за время пути мы, от постоянного напряжения, внутренне одичали, стали чужими самим себе и жесткими, какими бывают солдаты в бою.

С фронта — неутешительные известия.

Русские в ходе контрнаступления нанесли по нашим страшный удар: фронт прорван.

Б. корчит гримасы: он не боится, он вообще всегда был одним из самых отважных; но у него особый нюх на остро противоречивые ситуации.

— Заметь, капеллан: мы движемся вперед, а наши — назад!..

И чтобы сменить тему разговора, произносит имя своей невесты.

Город Миллерово — во мраке, как и степь, столицей которой он кажется. Нужно остановиться здесь на ночь, и водители инстинктивно подыскивают укромное и надежное место, подобно беззащитным детям, когда они укрываются от ветра.

Чего они боятся?

Не говорят; да они никогда и не признались бы, что боятся, и все же они всматриваются в степь с тревогой в глазах и в сердце.

Может, в тени кто-то устроил засаду? Или сквозь свист ветра доносится стон какого-то страдальца? Или, может быть, то, что слышится, — тоска всего человечества, приходящая из неясных и таинственных далей?

Автомшины разместились во дворе общественного здания; они стоят так плотно, что едва не касаются друг друга. Мне остро необходимо хоть ненадолго отвлечься от этой беспросветной реальности, и вот я уже представляю себе, что моторы, красные, потные, рассказывают друг другу легенды и притчи. Всё про Россию, ясное дело; увиденное по пути, мельком, или услышанное от живого голоса пустыни.

Но это всё же не моторы, а солдаты: сбившись в кучку на тюках, они переговариваются пе-

ред сном — чтобы справиться с навалившейся хандрой и с заунывным воем ветра.

Мы попытались найти в городе пристанище: безуспешно. Как цыгане: без дома, без ухода, без всех.

«Благословляю Тебя, Господи!»

Тюк, доставшийся мне этим вечером, ужасно жесткий, весь в каких-то углах; значит, спать не придется. Но так мне и надо, потому что сегодня я не смог прочитать Часы. Сейчас стало понятно, чем я возьму это упущение.

Обычная побудка, обычный рассвет, обычная печаль походных дней.

Но теперь мы чувствуем, что наш час близок.

Этот глухой шлепок — орудийный выстрел?

Вперед!

Эти мелькающие тени в полях подсолнечника — бегущие люди?

Вперед!

У тех танков, что обнюхивают друг друга, моторы все еще включены? А сама эта трасса, — может быть, она уже в руках у русских?

Вперед!

Со все возрастающим напряжением — вперед!

Воображение, подстегиваемое усталостью, рисует невеселые картины ближайшего будущего.

Стоит нам ошибиться дорогой, как мы попадем прямо в руки к врагам, а оттуда — тепленькими — в

концлагерь. Солдаты не скрывают опасений; некоторые офицеры вопросительно высовываются из кабин.

Но начальник колонны невозмутимо гнет свою линию: говорит, что осталось всего двадцать километров. Никто этому не верит, потому что все пришли к твердому убеждению, что едем мы уже по неприятельской земле; но движение продолжается.

По обочине трассы продвигается нескончаемая черная туча.

Водитель уже догадался: колонна русских пленных.

Двенадцать тысяч человек, сбитых в кучу, как стадо. Всех возрастов, всех рас; есть среди них и женщины.

Они шагают медленно и через силу: сколько же времени они уже идут? Люди без лица, и без искорки жизни — всё отдано этому роковому продвижению к неизвестной судьбе.

Я никогда не видел человека более подавленного, чем пленный. Это, очевидно, общее свойство всех пленных; но здесь перед нами что-то еще более тяжелое, более трагическое: может быть — долгий путь, может быть — ожидающая их доля, а может — зверская жестокость этой войны, в которой не осталось уже ничего человеческого.

Длинная, нескончаемая колонна идет сейчас рядом с нами: вот старик с длинной бородой, жульникий на ходу; так и слышу, как его вызывают, чтобы поставить к стенке, и он бесстрашно отзывается: я здесь.

Вот украинец, выбившийся из сил: лицо исполнено страдания и усталости, глаза полузакрытые и погасшие.

Другие шагают с яростным желанием идти вперед. У них нет больше сил; но нужно идти вперед. На их лицах написана мука сверхчеловеческого усилия. Но что же будет дальше?

Немногочисленные немецкие солдаты поведают этой массой потухших жизней, которая движется только по инерции: похоже на поток илистой воды, устремляющийся к пропасти.

Мне тоже становится страшно жить; сколько рыданий у меня внутри! А каково их матерям? Их детям? Их сестрам?

Теперь колонну поделили на три больших эшелона.

Первый — самый плотный; шаг тверже, лица — энергичнее. Эти люди проходят, никому не глядя в глаза, им безразлично, что попирают их ноги.

Во втором эшелоне чувствуется предсмертная тоска.

Шаг неверный, нетвердый. Есть отчаянное стремление идти вперед, и тело, несколько мгновений, еще слушается. Но ближе к хвосту этой вто-

рой группы заметно уже зловещее изнеможение; здесь идут неистово, со сжатыми зубами, со сжатыми кулаками, цепляясь за жизнь и сражаясь за то, чтобы не упустить ее.

Время от времени кто-нибудь не выдерживает: он идет наугад, выставив руки вперед, ругаясь из-за того, что водоворот колонны перестал его засасывать; такой с неизбежностью вылакает в третий эшелон.

Это эшелон смерти.

Охранники разрешают иногда немного замедлить ход. Но есть предел, дальше которого — как они говорят — терпеть нельзя. Законы войны требуют насилия: того, кто не может идти даже нескорым шагом, на дороге не бросишь, поэтому его, понятно, надо... убить.

Это эшелон смертников. Их лица приделаны к телам, по которым пробегает последняя мучительная дрожь жизни.

Первые переставляют ноги так, будто под ними — полуметровый слой грязи. Они страшно ковыляют в пыли и, кажется, ведут поединок с демоном степи, который хочет пристегнуть их адскими оковами к земле. Они шатаются, качаются, падают; потом поднимаются, яростно борясь с усталостью.

Они знают, что, если остановятся, им конец: еще шаг назад в этом похоронном шествии, и их не будет.

Больше не быть?

Сознание — темное небо: но там есть еще пылька света, крошечная, как капелька жизни. Все силы духа и материи, но больше материи, чем духа, кричат: "Вперед, еще шаг; жить, не умирать". Но — всё, внутри эти призывы уже не находят ответа: ноги подгибаются, грудь не дышит, в сердце перебой. "Сдаюсь, сдаюсь?".

Все тонет, все идет ко дну!

Степь — целый мир, трава... что такое трава? Что такое пыль? Что такое, что?!... Непонятный вопль немецкого солдата. Этот окрик оказывает магнетическое воздействие, мобилизуя остатки сил: мышцы вновь напрягаются, как от страшной угрозы.

Еще шаг?

Вот; но теперь хватит, всё, всё. Смерть — такая отвратительная штука, но она так сладка, когда сил больше нет...

Немецкий солдат опять орет; винтовочным прикладом он помогает плоти прийти в себя.

Похоже, этот все же снова поднимается.

Но опять падает: новый срыв нервов и мышц валит его на землю. Тело вздрагивает: человеку не хочется умирать; но после третьего, жуткого падения, голова его откидывается на пыльную траву и сознание гаснет.

"Мир раскололся? Степь обрушилась?"

Раздается выстрел: еще один пленный пушен в расход. Немец понял, что ничего тут уже не поделаешь.

Землекопы морщатся и матерятся: у них тоже силы на исходе. Как их всех схоронить?

ТАТЬЯНА, ЭТО ВЕТЕР?..

Когда мы доезжаем туда, где колея теряется (и ты чувствуешь, что с минуты на минуту раздастся твой собственный крик: "Русские!" или "Волки!"), водитель, нервный и измученный, вынимает платок, вытирает им лицо, почерневшее от пыли, и говорит: "Кашары".

Это слово режет нам слух, как автоматная очередь. "Кашары" — это реальная жизнь.

Как было бы замечательно ехать все дальше и дальше и продолжать мечтать! А если уж нам непременно нужно остановиться, почему бы не договориться с русскими, с немцами, с венграми о перемирии? Пусть оно продлится всего несколько секунд, лишь бы снять это страшное душевное напряжение, чтобы каждый, где бы он ни находился, смог помечтать о доме, о родных, о далеких родных краях.

Кто кричал: «Кашары!»?

Как же безумно не хочется, чтобы это было правдой!

«Капшары!»

Я бросаю раздраженный взгляд на начальника колонны, который продолжает выкрикивать это слово — оно бьет мне по нервам.

Когда приходит время вылезать из машины, хочется сразу же лечь на землю; но вместо земли видишь холметра пыли. С подножки оглядываешь глубокне колен и клянешься себе, что ни за что в них не завалишься (этого требует твое чувство достоинства). Соскакиваешь и окунаешься лицом в пыль. Говоришь, что виноват противогаз, но никто тебе не верит.

Сейчас не отличишь ноги от волос, китель от сапог. И глаза под этим противогазом невозможно смешные. На то, чтобы хорошенько почиститься, нужно не меньше двух дней.

Но вместо этого — внимание — срочнейшие приказы!

«Разгрузиться без промедления; до вечера произвести полное развертывание части; подготовить минимум, сто коек».

До вечера — шесть часов.

Все офицеры крайне озабочены: до сих пор они слонялись среди тюков, ничего не успев сделать.

Они изнурены и знают, что солдаты в таком же состоянии.

Солдаты продолжают осыпаться вопросами прохожих: «Где русские? Наши все еще отсутствуют?»

Мы, офицеры, теряемся в сложных расчетах. В какой-то момент, вроде бы случайно, наши взгляды встречаются, и мы все вдруг сразу понимаем, что надо делать: "Пойдем присмотрим помещение?"

Входим в школу: просторные классы, два этажа, проветриваемые коридоры, большой двор. Вечера здесь размещалось немецкое командование, теперь тут обоснуемся мы.

Если бы четырехсоткилометровое путешествие не измотало нас до крайности, наши решения, конечно, были бы более четкими и уверенными. Но М., пожалуй, уж слишком несобран: я слышу, как он предлагает то одно, то другое, и все совершенно бессмысленно.

Мне хочется заплакать, но я тут же беру себя в руки. Слетаю с лестницы и оказываюсь среди солдат, которых как раз наставляет квартирменстер: «Если мы попадем в окружение, надо...»

Я прерываю его резко: «Какое, к черту, окружение!»

Но сразу же голос внутри предостерегает меня: «Спокойно, парень; спокойствие и трезвость!»

И я обращаюсь к солдатам: «Ребята, спокойствие и еще раз спокойствие: будь у нас время на разговоры, я бы вам в два счета доказал, что ваши опасения нелены: доводов у меня сколько угодно».

(А внутри — схищенный, безжалостный голос: "И что же это за доводы?" Я обвиняю себя в нечестности, но тут же себя и прощаю, решив, что в эту минуту следует поступать именно так...)

"Но сейчас перед нами поставлена тяжелая задача. За четыре часа нам нужно оборудовать госпиталь: для других, может быть, это дело не посильное, но не для нас. Ну что, за работу?"

Когда появляется начальник госпиталя, люди уже все расставлены по местам и готовы к работе. Рапортую об отданных приказах: все идет прекрасно.

К вечеру из здания вынесено все лишнее, шестьдесят коек размещены в самых удобных классах; склад почти полностью вычищен, операционная оснащена для самых сложных операций.

Но люди вымотаны донельзя.

Глазами, руками, словами они умоляют нас дать им отдохнуть. Может быть, никогда их не подвергали такому серьезному испытанию.

Спускается ночь; только сейчас мы это замечаем.

Сколько всего еще надо бы переделать!

Хотя бы умыться, перекусить или обменяться впечатлениями о плохих новостях, которые продолжают поступать с фронта. Ничего подобного: не стовариваясь, около девяти вечера бросаемся на соломенные тюфяки или на раскладушки.

Офицеров временно разместили в большой комнате на первом этаже: какая прекрасная возможность обсудить произошедшее за день!

Зову администратора: спит.

Зову начальника госпиталя: спит. Дж. спит. Все погружены в глубокий и тяжелый сон; неужели мне суждено бодрствовать?

Теперь я содрогаюсь при мысли о том, что могу потерять и эту ночь. Если не посплю хотя бы несколько часов, встану совсем разбитым. Боже мой, дай мне немного отдыха; прощу тебя об этом, как о куске хлеба; не ради меня, ради того, что завтра нам предстоит".

Одиночный выстрел?

Кто измерит эту усталость?

А где пленные?

И где я буду завтра служить мессу?

Все мои люди, конечно, сейчас видят плохие сны о войне — все, кроме тех двоих капитанармусов, которые, чтобы забыть про все беды, решили сейчас очевидно *наклюкаться*.

Меня тоже мучают мрачные видения.

В нескольких километрах, на берегах Дона, идет жуткая рубка. Русские бьются неистово, как одержимые: наши сделали все возможное для того, чтобы их отбросить, но в эту минуту они не наступают. На подсолнуховом поле была лопатка: одни бегут, другие кричат, раненые бредут к перевязочным пунктам. От земли под-

вимается песнь смерти, сопровождаемая свистом картечи и мрачным завыванием *катюш*. Потом санитары уносят тяжелораненых; санитарные машины принимают искореженные тела.

Вопли в ночи, ругательства, стоны... Степь поглощает эхо этой безмерной муки.

Но эти крики, этот скулеж, эти стоны — как они настойчивы, как близки, как душераздирающи!

Кто-то кричит: «Тревога!» Стучатся в дверь:ержант-часовой шумит, как бесноватый, орет: «Подъем!»

Сон это или явь? А чуть раньше, я все это видел во сне или наяву? Не знаю; но только как же нам встать? Сейчас 23 часа: выходит, мы отдыхали час. И что он там говорит? «Привезли раненых?»

Вот и скулеж: слышатся стоны. Кто это так кричит?

Когда другие офицеры просыпаются, я уже удверей, выходящих на дорогу. Теперь стоны громче, неприятнее, безутешнее: они прорезают ночь, как метеориты.

Открыть или не открыть? Хватаюсь за голову: я никогда еще не видел, как умирают. На какой-то миг меня охватывает искушение убежать, ударить куда подальше — чтобы только не слышать, не видеть. Но всё мое *внутреннее* пригвозждает меня к моему месту, как ко кресту.

Я прислоняюсь головой к входной двери, стараясь сдержать рыдания, рвущиеся из горла, а по-

голм резко отодвигаю засов, говоря: «... *Si non potest transire, fiat voluntas Tua!*»⁴

Вот она, война.

Шестнадцать грузовиков со сто пятьюдесятью ранеными остановились перед госпиталем. Море боли, плача, проклятий, воплей и смерти.

«Господи, я исполню волю Твою, но все мое существо сильно потрясено»⁵.

Я прохожу вдоль автоколонны. Ранения они получили несколько часов назад: в полдень они еще были на поле боя. Они до сих пор пропускают через себя ту муку, дышат той атмосферой, испытывают тошноту от запаха той крови.

Сейчас 23 часа с четвертью. Начинается наша служба на войне. Все офицеры — вокруг раненых; люди в ожидании приказаний построились в вестибюле. Что нужно делать? Прежде всего — откликнуться на стоны раненых.

С фляжкой коньяка, в сопровождении двух санитаров иду их утешать, одного за другим. Это — путь кровоточащей Голгофы; не раз мне кажется, что я упаду под тяжестью креста и уже не поднимусь.

У одного разворочены грудь и живот; заметив капеллана, он оживает, будто завидел старого друга. Он зовет меня, говорит, что ему нужно

⁴ «Если не может миновать, ... да будет воля Твоя» (лат.) — ср. Мф 26, 42: «Если не может чаша сия миновать Меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя».

⁵ Ср Пс 6, 4.

со мной поговорить, и когда я встаю рядом с ним на колени и целую его в лоб, он дает волю чувствам и рыданиям.

— Да, вот так, немного добра: все мы тут оскопшились. А Господь, Он-то видит весь этот ужас?

— Ну конечно, мой милый; Он не только видит твою беду, но и кладет ее на весы Своего правосудия.

— И мне придется умереть?

— Умереть? — Я в глубоком смятении. Что же делать? Иойти на обман, чтобы принести ему облегчение, или сказать ему правду? Но не получится ли так, что эта правда будет для него как новое ранение и новый осколок в грудь?

— Умереть? Дорогой мой, какая разница, умирать или жить? Здесь мы все погибнем. Главное, поступать, как надо: отдай всё на волю Божию.

Он заливается горячими слезами: «О мама, мама моя!»

Другой, рядом, сквернословит, поносит Бога и святых.

Другой кричит, что умирает.

Переломанные ноги, забинтованные лица, разодранная и все еще кровоточащая плоть; остеклевшие глаза и взгляды, полные огня и ярости.

Другой бредит: ему грезится, что схватка с русскими не окончена; вот убивают его раненого друга; он хочет броситься на убийцу, но получает пулю в грудь. Кричит, чтобы ему дали гранату.

Я вдыхаю запах крови, снарядов, смерти, и внутри у меня всё исходит плачем. Я хотел бы вобрать в себя все зло этой трагедии и исчезнуть у всех с глаз; унести его с собой в глухую степь и там спалить в жаровне, отдав Богу.

Я ужасно страдаю. Вот, таково зло, такова материя, такова ненависть. Но где же дух, добро, любовь? Мир стал пылающей жаровней: где же ладан, восходящий к Богу?

Прохожу, без отдыха, от машины к машине. Смотрю, кто ранен тяжелее других; отмечаю тех, которым, по первому впечатлению, особенно срочно требуется помощь врача; всем говорю доброе слово. Кто-то рассказывает мне свою историю, кто-то говорит о своих детях, кто-то поручает моим заботам мать: все страшно мучаются, все призывают имя Божие и имя Пресвятой Девы; но немногие похристиански переносят выпавшее испытание.

— Ребята, я вижу, что все вы — как Христос на кресте. Послушайте, я дам вам немного коньяку, но будьте немного потерпеливее. Не теряйте заслугу, которую вы можете приобрести этим мученичеством. Принесите его в дар Господу во имя своего исцеления, во имя своих родных и во имя окончания войны.

Их послушность трогательна. Кто-то говорит, что нет больше его сил, кто-то просит понять, что он слишком уж сильная, кто-то опять причитает о близкой смерти; но, в общем, я слышу больше уми-

ротворенности в стонах: они поняли, что страданием разбрасываться нельзя. Желание выздороветь, воспоминание о родных, надежда на скорый конец войны — всё это чувства, от которых недалеко до молитвы.

Раненых увезли.

Ночью их скорбный псалом разнесется по степи: здесь каждая травинка, каждая изба, каждая балка понесут его дальше, и он сольется с ветром. Когда он прилетит на юг, тамошние дети прислушаются и спросят: «Татьяна, что это, ветер свистит или кто-то плачет перед смертью?»

Мы оставили только самых тяжелых.

Четыре утра: операции кончились. Можно ненадолго вернуться на раскладушку, потому что материнские руки врачей принесли истерзанным телам облегчение.

Раненые уехали; но что-то от них осталось здесь со мной.

“Господи, часто ли Ты повторяешь в миру историю о Внолене*, которая исцеляет милосердным поцелуем, становясь прокаженной, чтобы лечить прокаженных?”

Крик раненых, в котором — бунт против скорби мира, проник в меня.

Сейчас они, наверно, больше, чем прежде, готовы призывать имя Господне, вместо того чтобы отчаянно хулить его каждый раз, когда

* Героиня пьесы Поля Клоделя “Извещение Марии”.

грузовик подскакивает на очередном ухабе и боль возникает в них с новой силой. Но здесь, в моем внутреннем храме, — буря.

Мне приходят в голову все доводы Дж. против Божьего промысла, все, самые банальные, рассуждения в защиту материализма; атмосфера России, душа большевизма, отрицание духа, саркастический смех той девушки-комсомолки, что толковала о кризисе нашей цивилизации.

“Боже, Боже, слышишь ли Ты мой плачущий голос, идущий из глубины этой бездны?”

Я знаю, что правда на стороне духа, что есть душа; но Ты покажи мне их снова. Мне нужно опять пройти свой путь: пусть руки у меня будут окровавлены, но дай мне опять достичь вершины”.

Я притворяюсь спящим, но не сплю, и мне грустно. Не знаю, почему посещают меня эти сомнения; разве недостаточно убедительны тезисы св. Фомы о причинах существования зла в мире? А глубочайшие размышления на эту тему св. Августина в «*De civitate Dei*»? А может быть, всё оттого, что вчера я мало молился?

Да, вчера я не прочитал Часы; но неужели все эти физические и духовные муки не равноценны Псалтири?

* “О граде Божием” (лат.).

ХОЧУ ПОСТРОИТЬ БЛАГУЮ СМЕРТЬ

Что ж, такова дорога моих братьев-грешников. Сейчас я живу с ними, страдаю с ними, сражаюсь вместе с ними и, если будет нужно, умру с ними.

Много было подобных дорог: я пошел той, где два зла, нравственное и физическое, особенно глубоки. Это овраг, в который сошел Иисус: здесь Он сбил в кровь руки и ноги, здесь Его хлестал ледяной ветер из долины. Но именно здесь Он нашел и спас потерявшуюся овцу.

Я должен спать в доме греха, рядом с кроватью проститутки, в одной избе с осквернителями чужой чести; и еще мне приходится омыывать руки кровью раненых, опускать их в гробы, в могилы.

Да, таков дом страдающих грешников. Чтобы донести сюда божественную нить спасения, мне пришлось вести себя как разведчику в неприятельском стане.

Естественно, мне пришлось сделаться похожим на них.

Как и они, я ем семечки.

Как и они, я ношу форму.

Они живут, по горло завязнув в материю?

И я так же.

Они истязают свою плоть на войне? Я понимаю, что они стараются таким образом возмездить то, что потеряли, отринув Бога; и я следую за ними

Во всем, кроме греха. И в терзаниях духа, в мучках сомнения, одиночества, отсутствия Бога.

Я должен работать в одиночку, в тиши, в ночи. У других — материальные задачи, человеческие интересы, земные стремления. Если они живут честно, у них обширное поле деятельности, если они не слышат голос долга, то живут кое-как, в ожидании конца. Но я — доброволец в битвах духа, а не плоти. Я не запускаю снаряды, не руковожу войсками, не лечу тела, не знаю организационных забот: вся моя деятельность устремлена в область духа; я лечу души; восстанавливаю разрушенные храмы духа, ищу Бога для себя и для своих братьев-грешников.

При случае я могу вмешиваться и во все прочее; но всегда с намерением достичь своей цели, которая заключается в искушении духа. Я должен дарить людям Бога.

Что же это за сомнение меня терзает? Неужели, из-за того, что здесь дьявольски неистовствует зло, Боже, мне придется брести на ощупь, выставив перед собою руки, из которых ушли вера и дух?

Это — самый безжалостный лик зла: в словах людей, в их поведении, в событиях дня, при встречах со страждущими слышится издевательский смех отрицателя, проповедующего материю и пытающегося свести на нет Бога, приговаривая: «Если бы Он был, зло бы не торжествовало!»

Но разве я не знал об этом, когда брался за эту миссию? Не знал, что мне придется трудиться, подобно смельчаку под огнем вражеских пульметов, с восторгом, целеустремленно?

Ныне — час тьмы.

Но и в одиночку, Господи, и без света, и даже, как сейчас, не находя во многом согласия с самим собой, помня, что я — как один из моих братьев-грешников, я по-прежнему буду священником, моля Тебя даровать нам, бедным грешникам, Твою благодать.

Мой госпиталь — это моя гора, на которой я борюсь с ангелом.

Сегодня к нам принесли русского пленного: ему выстрелили в живот, когда он наклонился подобрать картофелину, и оставили на краю канавы, как подбитую ящерицу. Двухчасовая операция; мои глаза ни на минуту не отрывались от этого истерзанного тела. Как же мне даровать ему Бога?

Сейчас он умрет; прежде чем он закроет глаза, я скажу ему по-русски имя Господне. Поймет ли? Примет ли он руку, которую Бог протянул ему в его бездну?

— *Gospodin pomilui!*

— *Gospodin pomilui!*

А сейчас умирает немец: его лягнул мул. Что думают эти люди о смерти и о Боге?

Говорю ему: "Я капеллан".

Никакой реакции.

Спрашиваю у него, католик ли он. Отклика нет. Спрашиваю, умеет ли он молиться: отклика нет. Благословляю его: отклика нет.

Потом врач-офицер приходит осмотреть его. Он уже почти не дышит; но при каждом вопросе доктора подскакивает на койке, пытаюсь принять положение "смирно" и выдыхает: *яволь*, "так точно"

Наверно, он так и умрет, отвечая *яволь*.

Людам или Богу?

Трое детей и старик подорвались на венгерской разрывной мине. От детей не осталось ничего: они больше не видят и не слышат, только, пока еще, дышат. Мамы плачут; и когда я даю умирающим благословение, они встают на колени и целуют мне руки.

А старик какой-то странный.

Его доставили в операционную к вечеру. Я и Г. глядим на него против света. У него изорванное в клочья лицо, кровь ручьями струится по бороде; руки оторваны, грудь разворочена. Такой мучки хватило бы, чтобы отправить на тот свет и самого крепкого молодого человека. Хирурги не понимают, как старик еще держится.

Но он не просто держится: сидя на операционной кровати, он с горящими глазами произносит длинную речь, в которой говорит о Боге, о войне и о людях. Я не в силах понять его мысли: кажется, перед нами — мученик, гонимый злом,

Тарас Бульба на пылающем костре, который молится о великой России. До того меня заворожил этот старик, что, когда он в последний раз целует свой нательный крест, я встаю на колени, и мне приходится силой заставлять себя встряхнуться, чтобы преподать ему отпущение грехов.

Потом прибывают другие раненые.

Новая волна страдания; новые слухи об идущих боях.

Ночью, при последнем посещении палаты для самых тяжелых, у меня возникает чувство, что я вобрал в себя всю нестерпимую муку войны.

№ 3 два часа пролежал под грудой трупов; вокруг были русские: потом наши вытащили его оттуда. № 7 спас своего лейтенанта, но лишился обеих ног. № 10 — берсальер, простой рядовой, но при этом — профессор философии. Вчера, едва обретя речь, он сказал мне, что, вернувшись с войны, телом будет уцербен, но духом — здоров: теперь он верит в Бога.

У каждого — своя повесть; больше того, события, происходившие с ними, перерастают рамки повести и выстраиваются в эпопею. Все они — герои легендарных деяний. Русские, имевшие многократное численное превосходство, вероятно, были поражены мужеством этих людей, которые, после первых мгновений растерянности, росли, как дубы, в землю и преградили им путь.

У этих ребят перед глазами еще стоит недавняя схватка, и их слова еще наполнены яростью; но среди глухих и душераздирающих стонов свершают драгоценные знамения великодушия.

«Не трогай его, он ранен!»

Так пехотинец упреждал берсальера, готового расправиться с русским, который отходил к своим через наши позиции.

Кто-то умирает.

Вечером я собираю своих людей и прошу их помолиться вместе со мной о раненых.

Мы — семья; и кто бы ни умер, он как один из нас; и его родные — и наши тоже.

Мои солдаты всё понимают: меня глубоко трогает та ласковость, с которой они обращаются с ранеными, ночные бдения, братская заботливость, их распухшие от слез глаза, когда они приходят оповестить меня о чьем-нибудь конце.

Предсмертный стои заставляет меня вскочить с койки. Это умирает пехотинец из бригады S. Сегодня он рассказывал мне о своих домашних: мама и сестра и мысли не допускают, что он может умереть в России!..

Умирать в России — худшее из испытаний. Дять тысяч километров от родины — это слишком много: слишком холоден алтарь, слишком жестока приносимая жертва.

Он кричит, что не хочет умирать; санитары плачут, другие раненые переживают и закрыва-

ют ладонями лица. Я дрожу: слышу зывающий голос Божий и чувствую трагизм этого Божьего создания, которое не умеет, не может ответить на зов свыше. Как же страшна мысль о смерти!

Мне передастся его тоска. Я целую его, и мне кажется, что я иду ко дну и некому мне помочь. Смерть? Господи, вместо него приношу Тебе в дар эту муку.

Прошу его повторять за мной молитвы; и он выкрикивает их нервно, в такт толчкам боли. Потом обмякает у меня на руках и утасает, лепеча: «О Боже, о мама».

Новые раненные, новые покойники, новые победы зла и материи — и новые потрясения от соприкосновений со смертью.

Каждый вечер перед сном мои люди молятся по розарию.

Темная, печальная комната напоминает пещерную катакомбу. Приходят и те, кого никак не назовешь добрыми христианами, приходят, даже если идет дождь и дует ветер, даже если им приходится чем-то жертвовать. Потому что это — встреча в духе: перед каждой тайной² я говорю что-нибудь, к чему-то привлекаю внимание, вручаю их Богу. И они чувствуют, что в этом водовороте смерти, который нас тащит в себя, молитва —

² В католической Церкви розарий — молитва, совершаемая по четкам; розарий охватывает 15 событий или «тайн» из жизни Иисуса Христа и Божией Матери, каждая из которых дает материал для молитвенных размышлений.

единственный якорь, дающий твердое упование на истинную жизнь.

Начальство приказало мне устроить кладбище. Я рад, что это дело поручено мне: теперь я смогу быть рядом с усопшими не только в молитве, но и на их могилах.

Выбираю самую высокую возвышенность, ту, что смотрит на дорогу, уходящую на восток. На восходе солнца первый луч будет для них цветком хризантемы, преподнесенным благой природой, дочерью Бога.

Внутренняя лестница поведет от входной террасы к центральному плато, где будет возвышаться крест. Два его крыла будут исполнены в необычном ракурсе, в восходящем движении, которое должно символизировать воскресение из мертвых.

Люди, выполняющие эти работы, уже освоились с комьями земли, с травами, с крутыми участками: и трудятся они почти в полном молчании, словно заняты возведением храма.

Я провожу с ними немногие свободные часы, остающиеся у меня от обязанностей по госпиталю, и иногда думаю, какое было бы счастье, если бы я мог оставить свой душепопечительный пост и зажить с ними одной жизнью. С теми, кто работает киркой, легче, чем с умирающими...

Смерть солдата — насилие над моей собственной жизнью: у меня умирает брат? Или умирает нечто внутри меня?

Нет: это вопрос о смерти, который жестко встает предо мною, как тогда, когда она предстала мне на троне детства, в образе мертвеца, покоящегося на цветах робинии, и я решил пойти в семинарию.

В самой глубине своего призвания, думал я прежде, буду искать ответ: спокойный, мирный, полностью согласующийся с жизнью.

И одновременно — умирать понемногу каждый день, так, чтобы даже и не замечать этого, превращая, посредством благодати, время каждодневной смерти в радость духовного обновления.

Но вот теперь смерть неистовствует рядом со мной в своем самом зверском обличье. Русские падают взводами, плечом к плечу, как пшеница во время жатвы; люди умирают от голода; пленные умирают от истязаний и притеснений; дети натыкаются на адские машины; наши солдаты тысячами погибают в палатках или на дорогах. И драма каждого имеет продолжение у меня внутри: что означает это торжество смерти? Материя распадается, дезорганизуется; и, значит, действительно происходит лишь разделение молекул? Получается, всё — сплошная материя.

Я яростно противлюсь такой гипотезе.

Господи, я верю в дух.

Верю в душу.

Верю в небеса, даже если здесь, в этом мире, всё — материя, тело, земля.

Но мы тонем в материи. Она торжествует повсюду: в войне, в разговорах офицеров, в страхах солдат, в приказах вышестоящих командиров, в отрицании всякого закона, всякой меры, всякого благоразумия. Любая война, как известно, — разгул неразумия и скотства. Но эта война в России — настоящий праздник материи; всё — материя, в чудовищной, пугающей степени. Ни проблеска человечности, ни лучика справедливости. Где-то еще схватка может быть достойным испытанием силы; здесь же она представляет собой непристойное высвобождение всего самого низкого, что есть в человеке.

“Господь мой, я ищу дух: ищу душу, ищу человека, человека, который стремится к Тебе, который страдает и томится. Я верю в это Твое создание, сделанное из души и тела; и поэтому хочу взять такое создание, как оно есть, и оттуда, куда заклело его зло, привести, таким же добрым, как прежде, к Тебе. Я верю в благодать, Господь мой, и хочу использовать ее как долото, чтобы выдолбить то, что мне нужно, в этой сырой материи; хочу обрести Твое создание, чтобы вылепить его вновь по Твоему подобию”.

Пехотинец, больной тифом.

Когда его приносят, ему остается жить несколько мгновений. У меня температура, и я не могу общаться с ним так, как хотелось бы. Я холоден и к тому же подавлен.

Господь подменит?

Румынский солдат совсем плох.

Он уже не может говорить; только смотрит умоляюще на мой нагрудный крест и жаждет услышать мой голос. Мы не понимаем друг друга; но когда я подхожу к нему с распятием, его глаза наполняются слезами; и он умирает рядом с Христом на Голгофе.

“Господь мой, большего прошу. Хочу, чтобы в ком-нибудь из моих братьев Твоя благодать произвела очевидное, несомненное чудо. Для этого понадобится подходящая натура: понадобится сердце, которое бы его заслужило. Конечно, мои молитвы и молитвы моих солдат чего-то стоят, но их недостаточно. Тут требуется содействие человека, осеняемого Твоей благодатью”.

Вот-вот умрет чернорубашечник. В бою он творил чудеса: превосходный солдат. Но теперь, когда возбуждение схватки угасло и он очутился один на один с последним испытанием, его дух слабеет.

Я пытаюсь пробить брешь в его душе, исследовать его сердце, чтобы нащупать в нем податливый кусочек, куда можно было бы привить христианскую смерть: но умирающий, как видно, остается глух к моим словам. Меня пробирает дрожь. Почему его мать, которая зажгла в нем такую восторженную преданность земной родине, не смогла воспитать в нем и гражданина небесной отчизны?

Его смерть огорчает меня вдвойне. Бедная мать, ты его не дождешься, и в твоей скорби всегда будет нечто священное; но в моей душе звучит широк, обращенный к тебе:

*O mère, ton amour a déformé cette âme:
s'il ne sait pas mourir,
tu n'as pas su créer
(Déroulède).*

О мать, твоя любовь лишь исказила эту душу: да, не умел он умирать, ты ж не успела в созидании.
(Дерулед).

Вчера привезли альпийского стрелка, из дивизии Т. Опять тяжелый случай перитонита, еще одна попытка спасти жизнь *in extremis**. Я пробежал мимо него, когда профессора из Подвижной хирургической группы проводили консилиум. Глазами он умолял меня сказать ему что-нибудь.

— Не беспокойся; мне нужно съездить на мотоцикле, отслужить мессу в той части, что стоит у реки. Но оттуда я сразу же обратно сюда: у меня к тебе долгий разговор...

Он улыбается мне удивленно.

Будь они прокляты, эти поездки в пыли. Ну вот, опять то же место: "Здесь в воскресенье — помнишь? — мы упали; там свалились под машину; а

* "В преддверии смерти" (лат.).

на этом пригорке две недели назад расколошматился грузовик, и мы влетели в кучу гильз...”

Что-то нынче утром мне никак не удается понять ход моих собственных мыслей.

«Что я сказал тому “альпийцу”? Зачем пообещал ему долгий разговор? Что я скажу ему, когда вернусь, он ведь теперь ждет от меня чего-то?..»

Водитель что-то говорит мне, но я ничего не слышу; проезжают на лошадях какие-то молодые казаки и здороваются, но я не отвечаю.

Говорить с ним долго... Может, о шансах на выздоровление? Но как пройдет операция? Нет, пожалуй, я поведу разговор о его собственных делах...

Как тебя зовут?

Чем ты занимался?

Как у тебя с совестью?

Хорошо? Честно-честно? А если бы мне пришлось, например, сказать тебе, что сегодня же вечером ты умрешь?..»

Итак, эту встречу посылает мне Господь. На этом “материале” я должен построить *благовую смерть*.

Так, теперь понятно: мне нужно говорить с ним долго; я уже за него взялся.

Операция прошла неплохо.

Есть десять шансов из ста, что он выживет. Сейчас он просыпается: жду, пока он откроет глаза, чтобы кое-что ему сказать.

Едва узнав меня, он улыбается мне своими большими глазами, полными тихой грусти: он напоминает Христа на кресте. Об этом я ему и говорю: «Ты похож на Христа распятого».

Он улыбается.

— Слушай, я хочу отслужить мессу рядом с тобой, у твоего изголовья, с тем чтобы, протянув руку, ты мог прикоснуться к чаше жертвы. И это будет правильно, потому что... и Христос умер на кресте; а здесь Он обновляет Свою жертву.

Он вытаращивает глаза от удивления и с тревогой, нервно сжимая мне руки, кричит: «Потому что... может быть?..» И плачет.

— Какой же я Христос на кресте: я просто бедолага.

— Не говори так: все мы такие же *бедолаги*; но когда кто-то страдает так, как страдаешь ты, и старается всё отдать Господу, он никогда не бывает *бедным*, или, во всяком случае, всегда походит, как я тебе говорил, на Христа распятого.

— Я не достоин таких слов, мне следовало быть лучше.

— Это не в счет: вот скажи мне, веришь ли ты тому, что говорит тебе священник?

— Да, конечно!

— Так вот я говорю тебе, что даже если, предположим, прежде ты не был хорошим, то теперь, принимая безропотно эти скорби из рук Божь-

их, ты совершаешь великое дело, очень похожее на дело Христа, когда Он умер на Голгофе. Ты сам сейчас совершаешь мессу...

Я боялся, что он потерял нить, а он, наоборот, меня подгоняет.

— Священник! — У меня мелькает мысль: что это он так меня называет? — Если бы вы знали, сколько месс я мог слышать, я ведь был ризничим, в одном приходе в горах.

— Вот и хорошо, значит, все, что ты недоделал, мы сейчас сделаем вместе; ты рад, что будешь мне помогать?

Он растроган и отвечает утвердительно.

Ему двадцать один год, его зовут М.М., родом он из А.К.

Врачи между тем ожидают худшего: парез кишечника по-прежнему полный, нет признаков улучшения; значит, нет и оснований для надежды.

На улице темень, низкая облачность; но когда он причастился, показался солнечный луч.

Как только кончилась служба, он подзвал санитаров и обратил их внимание на показавшееся солнце. Разве не похоже, что оно приходило ради него? Может быть, это был все-таки луч надежды?

— Слушай, М., сейчас я помогу тебе немного поблагодарить Господа, ладно? Следуй за мной спокойно, не перенапрягайся... Господи, благодарю Тебя за то, что Ты вошел в меня, в сопровождении солнечного луча, — он открывает глаза

и улыбается: ему приятно это слышать. — Мне нечего дать Тебе взамен; тело мое совсем разрушено, здесь стоит жуткий смрад... Но с радостью вручаю Тебе все скорби каждой минуты своей жизни, с тем чтобы вся она прошла перед Тобой. Благослови моих родителей, моего приходского священника, моих товарищей и Италию. По милости Твоей помоги мне исцелиться; или по милости Твоей научи меня с радостью исполнить всю волю Твою... подобно Иисусу, взошедшему на крест.

Он берет меня за руку и орошает ее слезами. У него в душе, должно быть, идет нешуточная борьба.

— Ну что ты, М.? Рано или поздно все мы окажемся в твоём положении, главное — сделать шаг.

Он берет себя в руки, смотрит мне в лицо с улыбкой, полной слёз, а затем медленно, крепче сжимая мне руку, говорит: “Да, правда, здесь, как осенью: один за другим, падают все листья”.

Его душевная щедрость приводит меня в глубокое волнение; и мне приходится на минутку выйти.

Теперь все знают, что М.М. хочет приготовиться к смерти.

Он попросил меня пособоровать его, и сам отвечал на все молитвы священника. При этом присутствовало много солдат (потому что теперь

уже все его знают), и очень многие из них плакали. Потом мы прочли для него розарий, и мне пришлось просить его замолчать: стараясь во что бы то ни стало отвечать вместе с другими, он дошел до полного изнеможения.

Четыре дня, как его оперировали. Тело его уже почти сгнило, и неизвестно, откуда он берет силы, чтобы дышать. И все-таки, для всех, кто приходит его проведать, у него наготове широкая улыбка.

Сегодня утром он был очень уставшим.

Но лишь только я вошел, он взял меня за руку, попытался с улыбкой поцеловать ее, а потом глаза его заволоклись несколькими слезинками.

— Ну как ты, М.? Молился немножко?

Говорит, что да.

— А ту молитву повторял?

Кивает.

— Очень страдаешь?

Он хотел бы сказать, что нет, но не может.

— Слушай, М., ты не говори ничего, только спокойно, не утомляясь, слушай мои слова. Господь-то, знаешь, Он видит все твои страдания; не только физическую боль, но, главное, нравственную. Быть здесь, далеко от дома, от родных, от всех, и видеть, как обрывается твоя молодость...

Плачешь?! Но и я плачу, и Иисус плачет вместе с тобой. Однако послушай, я должен тебе сказать нечто замечательное: на свете нет зрелища

прекраснее, чем юноша на смертном одре, мирно предающий свою жизнь Богу.

Скоро ты вновь обретешь жизнь — в раю, всю целиком и навсегда; но если, пребывая еще здесь, ты сумеешь принести ее в дар Богу, ты совершишь самый великий и самый трогательный поступок, какой только может совершить человек на земле. Сделай так: найди слова, чтобы принести себя в жертву Иисусу, как и Он сделал на кресте.

И еще: если не возражаешь, дам тебе *туда* одно поручение.

Он смотрит мне в лицо и, улыбаясь, говорит: "Да".

"Вот: попроси Господа, чтобы он, за твою жертву, даровал мне ту благодать, о которой я молю Его; и потом попроси Его преподать особое благословение папе, итальянской молодежи и одному молодому священнику, который особенно близок моему сердцу".

Он говорит: "Да, да, да".

Поздно ночью я опять навестил его; он узнал меня и с большим трудом произнес, улыбаясь: "Священник, не беспокойтесь обо мне, идите спать".

Я встал на колени около его койки и прочел розарий.

17 часов.

Все люди, незанятые по службе, узнав, что М. уходит, сбегались к его кровати: сейчас они читают розарий, плачут.

У него еще хватило сил всем улыбнуться. После благословения я сказал ему: "М., мы все о тебе молимся. Скажи, ты рад исполнить волю Господню?"

— Да... Передайте привет моей маме. Я умираю по доброй воле.

Те, что стоят ближе всех к нему, опускаются на колени и начинают рыдать.

— Вознесем вместе последнюю молитву!

И еле слышным шепотом он проговаривает последние слова: "Господь, преобрази для меня радость жизни в радость смерти..."

После этого М.М. уже не дышал.

Когда мы принесли его на кладбище, некоторые солдаты, прямо с венками в руках, вставали на колени у его могилы и просили его о чем-то с тем же доверием, какое было между ними при его жизни. А кто-то, может быть, предчувствуя с тяжелым сердцем то, что должно было в скором времени с нами случиться, отважился даже сказать ему: "Если ты обрел в нас семью, которая сделала твою смерть не такой трудной, будь же теперь нашим заступником!"

Я не подал вида, что одобряю этот порыв, но в истории нашей части я записал имя М.М. как доброе предзнаменование.

И потом повторял про себя: «*Ubi est, mors, victoria tua?..*»*

* Где, смерть, твоя победа?" (лат.) — 1 Кор 15,55.

И даже в тот день, когда на этом же кладбище нам пришлось бросаться в могилы, чтобы спастись от яростного обстрела, который застиг нас врасплох. — и тогда при одном взгляде на этот крест, увенчанный каской с пером "альинийца", мне становилось спокойнее, будто рядом был кто-то, готовый, что бы ни случилось, прийти мне на помощь.

ПРОПОВЕДЬ "МИЛОСЕРДНОЙ ЛЮБВИ"

Вчера погиб капеллан Д.М.

Несколько дней назад он получил ранение в руку, и его отправили в госпиталь.

Но вчера утром наши пошли в атаку на прорвавшиеся неприятельские войска, и он не мог отставать в стороне.

Побежал на командный пункт, нашел место в машине полковника, рядом с батальонным врачом, и вот, ранним утром, они направились на позиции, где вот уже два часа гремел бой.

Остановились на перекрестке: там — несколько солдат на импровизированном блокпосту.

— На X. дорога свободна?

Там, где кипит схватка, кто может знать наверняка, безопасна ли дорога.

— Минут двадцать назад была свободна. А с тех пор — новостей нет.

— Ну, тогда — вперед, на предельной скорости. Но двадцать минут, в ходе боя, могут быть решающими. “Там и правда ничего нового?” — думает про себя полковник, взглядываясь в дорожную мглу.

“Вот там, чуть подалее, дом; рядом какое-то шевеление. Кто это, итальянцы или русские? И не слишком ли быстро мы едем?”

Проблеск чутья, мгновенная дрожь, удар по тормозам. Автоматные очереди.

Яростные, непрерывные винтовочные выстрелы, свист пуль.

Полковник и водитель уже в кювете; два прыжка на гребень, и вниз, в балку: теперь они в безопасности и доберутся до своих целыми и невредимыми. Врач и капеллан бросаются в противоположную сторону, но здесь слишком открыт участок, а русские — в слишком надежном укрытии.

Врач отстреливается из парабеллума; но в самый неподходящий момент оружие заклинивает. Остается только бегство, и он бросается к кювету, думая, что капеллан следует за ним.

Однако капеллана за его спиной уже нет: автоматная очередь прошила ему бок, когда он пытался отразить вражеское нападение. Доктор возвращается, склоняется над ним; понимает, что ранение тяжелое, хочет унести его на себе, но священник умирает у него на руках. А выстрелы

меж тем гонят его прочь, и он, уже не сознавая, что делает, бежит от этой стены огня.

Сейчас этот врач здесь, у меня.

Глаза у него краснющие: он уже не верит, что можно наконец отдохнуть. Он принес мне свечу и кое-что другое с походного алтаря Д.М.: я буду ревностно хранить все это — как завещание.

Погиб и отец Ф., капеллан берсальеров-мотоциклистов.

Отец С., направляясь на поиски тела Д.М., наткнулся на бранные останки отца Ф., который, как выяснилось, захотел быть со своими подопечными в самом опасном месте, там, где сеяли смерть русские минометы.

— Здесь не место для вас, падре, — сказал ему берсальер, удивленный такой отвагой.

Дон Ф. не ответил; точнее, ответил, — тихо склонив голову перед ангелом смерти, когда его настиг осколок мины.

Что же, действительно, там ему было не место? Там, вне всяких сомнений, вообще никому не место. Но если там был солдат, то и капеллану принадлежало быть с ним. И страх перед смертью не мог встать между ними.

Теперь оба они лежат на одном кладбище на Дону. Вокруг много ребят, из всех родов войск, из всех стран. Солдаты говорят, как славно, что и здесь рядом с их товарищами — капелланы.

— Это другое дело! Потому что в них вроде бы как кусочек родины, Церкви и даже семьи. Это единственное из нашей прежней жизни, что последовало за нами сюда, причем добровольно, — и умирает теперь вместе с нами.

Проходят альпийские стрелки с песнями на паречьях Пьемонта и Венето.

Сражение еще бушует; но сейчас эти юноши, в ответ на наши быстрые напутствия, обещают: “Подождите несколько дней, и увидите, что случится на Дону”.

Все любят эти чудесными ребятами, которые не допускают мысли, что им придется окончить свои дни здесь, утонув в пыли, — им, *рожденным для камней и скал*. И горе тем, кто встанет на их пути!

Если им хочется есть, они особо не церемонятся. Нашли тут как-то корову в закрытом хлеву; как бы к ней подступиться?

— А окна-то? На что здесь окна? — вопрошает паренек из Т., хватая животное за шею.

И в мгновение ока корову вытаскивают через дыру в стене. Ставни слетают, оконный проем расширяется, домик трясётся и... задышающаяся корова уже на свежем воздухе. Остальное — проще простого.

Всем уже известно, что итальянские горцы правом тверды и решительны. Даже союзники относятся к ним с известным почтением. Как с

гордостью говорят итальянские офицеры, "эти парни — наши танки".

И если судить по внешности, сомневаться в этом не приходится.

Тем более, если судить по сути.

Первого сентября на Дону впервые пошли в наступление "альпийцы" из дивизии Тридентина. Батальон Г. обрушился неудержимой лавиной на позиции русских, которые обратились в стремительное бегство. Было много раненых; русские отстояли последний рубеж, поливая наступающих минометным огнем. Затем бой прекратился: немцы, которые должны были с фланга поддержать нашу атаку, не пошли вперед.

Для чего же так много напрасных жертв?

На подсолнуховом поле, где шло сражение, задержался капеллан, чтобы подобрать павших. В какой-то момент он понял, что по нему ведется плотный прицельный огонь из парабеллума.

Неужели свои?

Потеряв терпение, он встает в полный рост и кричит: "Не стреляй, я капеллан".

Но вдруг замечает, что в двадцати шагах — русские: "Ой, а ведь эти итальянского не понимают".

Прыжок, состязание в беге на время со шквалом пуль и... на сей раз вылазка имеет счастливый конец.

Мы, в нашем госпитале, живем тревожными отголосками глухой борьбы и последствиями

постоянного износа людей. Мы не на самой передовой, где можно непосредственно пережить и вкусить эти эпические часы; но мы и не настолько далеко, чтобы не почувствовать исходящее от нее мучительное напряжение.

После боя кладбище принимает мертвых и облачает их тишиной и славой. Госпиталь же принимает полуживых, разодранных в клочья, чьи ткани несут в себе жесточайшие приметы схватки. Госпиталь — “остаточное явление” после боя: возбуждение духа уходит, и страдание плоти берет верх; в борьбе уже не с врагом, а со смертью, лик войны предстает более страшным.

Если раненых не больше двадцати, в помещении удастся сохранить порядок и даже некоторый декорум, как в гражданских больничных палатах.

Но если раненые идут потоком и без перерывов, если не хватает дров для обогрева, или питьевой воды, или хлеба, или медицинского спирта, или марли для перевязок, или (что хуже) времени удовлетворить все бесчисленные нужды пациентов, тогда положение становится отчаянным. Нами овладевает рассеянное нервное напряжение, из-за которого мы забываем о распорядке дня, которое побуждает нас бегать безостановочно днем и ночью и ни на минуту не дает нам расслабиться, потому что никогда не удастся предусмотреть всё.

Прибыли раненые альпийские стрелки.

Они проделали тот же путь, что несколько дней назад; но больше не поют.

У каждого внутри спрятана история, трагедия. В мирное время хватило бы одной такой истории, чтобы взбаламутить жизнь какого-нибудь городка.

Медбратья подходят и уходят; санитары подходят и уходят; лечащие врачи заботятся об исцелении тел.

А вот капеллану подойти и отойти, не задержавшись, нельзя.

Я не выполню свое дело, если не войду в душу каждому из них; а войти к ним в душу я смогу, лишь извалив на плечи все их кресты.

Боже, Боже, капля за каплей придется мне отведать весь этот океан скорби. В какой-то момент мне кажется, что и я иду ко дну. Чувствую резкую боль в сердце, сознание мутится, организм на глазах сдает.

Мне надо на минутку выйти, а не то упаду в обморок. Уйду хотя бы на миг, вот только закончу с этим парнем: его нужно еще немножко подбодрить.

Встаю.

Но санитар зовет: "Лейтенанту Х. плохо".

— Иду!

Лейтенанта альпийских стрелков Х. оперировали в связи с перитонитом. Теперь конец бли-

зок. Он подготовился к смерти и настроился на нее самым трогательным образом; он чувствует, что время пришло.

— Капеллан, я хотел бы написать домой в последний раз.

— Мне самому написать, или ты поддиктуешь?

— Поддиктую

— Я готов

«Дорогой папа, дорогая мама, дорогая сестра! Перед тем как умереть, посылаю вам последний привет. Не плачьте, все мы еще встретимся, я исполнил свой долг.

Дорогой папа, мне жаль, что я не смогу позаботиться о тебе в твоей старости, но благодарю тебя за все жертвы, которые ты принес ради меня. Прости, если я не всегда был хорошим, но я тебя очень любил.

Дорогая мама, не знаю, что сказать тебе, целую тебя. Не плачь... Гордись, что я умираю за родину; Господь утешит тебя... Целую еще...

Дорогая Ольга, я много чего хотел бы сказать тебе, но не могу. Утешь папу... и маму, и...»

Ему становится хуже; он обнимает меня за шею: я преподаю ему торжественное благословение. Листок с письмом мокрый от слез...

Вот он испустил дух. А как же письмо?

Я допишу его и отправлю в день похорон.

№ 1, которому отняли правую руку, зовет меня. Прошедшей ночью он взывал к детям: вчера кто-то сказал ему, что он скоро вернется в Италию, и в горячке он все время разговаривал со своими ребятишками.

— Принеси мне водички, только попрохладней, да, ты, Энрико, ты ведь у меня молодчик. Если б ты только знал, какая мерзость эта война!

Сейчас он говорит мне, что хочет написать домой.

Живет он на Капри: хочет сообщить жене, что, *хорош или плох*, скоро вернется.

Диктует мне:

«Дорогая жена! Скажу тебе, что чувствую я себя совсем неплохо, что сначала дела мои были очень скверные, но теперь мне намного лучше, и значит, приеду домой, *хорош или плох*. Так что жди меня и поцелуй от меня детей. Но пока ждешь, посеи немножко в огороде. В первую борозду посади бобы, потом, у изгороди, морковь. Фасоль можешь посадить посредине, а остальное пока вскопай, а там уж я сам приеду и посею. Ладно? Поцелуй за меня детей. О своем отъезде дам тебе знать. Твой...»

Почему, интересно, я потерял такую уйму времени, стараясь представить себе этот огород с бобами на острове Капри?

У нас тут тоже есть огород.

Мы хотели вскопать его, но у нас не было времени. А к тому же, для кого мы должны его засеивать? Сейчас сорняки душат картофель и помидоры, которые кто-то, много времени тому назад, бережно здесь посадил; и может быть, он вовсе не думал, что их ждет такая судьба.

Нужно быть осторожным, когда ходишь по этому огороду: повсюду валяются гранаты и даже мины

Почему?

Множество мыслей и замыслов пробегает у меня в голове. Это минута слабости: для меня самая важная и ответственная работа — работа духа. Но если здесь дух плачет, мне тоже всегда положено плакать?

Драматическая ситуация...

Здесь, на фоне пулеметной стрельбы и под настойчивый стук смерти, жизнь упрощается и распадается на свои главные ценности. Условности, формальности, риторика низвергаются; в других местах они еще могут быть чем-то, могут казаться чем-то; здесь они теряют всякий смысл.

Здесь, перед лицом смерти, — только *est est, non non*^{*}: истина и реальность, обнаженно.

Я сжимаю чашу, словно она — Христос на кресте, от своего имени и от имени своих братьев. Вижу в вознесенной гостии символ надежды. Совершенно

* "Да — да, нет — нет" (лат.).

мессу так, словно произношу клятву перед Богом и перед людьми.

Но потом я потерял веру в говорение, в проповедание, в обычные средства соприкосновения с людьми.

Большую силу имеет акт милосердной любви.

Нести Христа в *стакане воды*, в *куске хлеба* или в *шляпе*, которая защитит от холода.

Когда человек находится в таком состоянии, что ему нужен *стакан воды* или *кусочек хлеба*, он в состоянии увидеть Христа. И тогда формализм и условности вредны. Блаженны жаждущие... И блаженны умеющие утолить жажду!

Если кто-то зовет меня ночью, я радуюсь возможности пойти на *трудную* проповедь. Я приношу ему немного Бога, с улыбкой вручая облатку от невыносимой головной боли.

Другой, в ночь прибытия массы раненых, в неопределенной ситуации, в отчаянии кричит, что хочет пить.

— Санитары! Где санитары?

Адский грохот: все бегут, все кричат. Я должен немедленно бежать в ротную канцелярию, чтобы получить новые распоряжения от начальника госпиталя.

Но сначала нужно довершить проповедь: напоить жаждущих.

Под большой лестницей мы разместили последних десятиерых раненых из новой партии. Им холодно; но на складе больше нет одеял.

Альдо Дель Монте. КРЕСТ НА ПОДСОЛНУХАХ

Я бы не пожалел своих одеял, отдал бы им на эту ночь; но как подумаю, что они вернуться ко мне выпачканными в крови, в земле... Голос внутри у меня говорит: "Нет, это уж слишком". Но если не я сотворю милость, кто почувствует себя обязанным сотворить ее?

В какие-то ночи санитары спят. Но ведь тому *обоже*женному карабинеру нужна поддержка.

"Два часа; пойду проверю, получил ли он успокоительное".

Мне нравится последний ночной обход.

Многие спят, но самые тяжелые по большей части еще бодрствуют, при слабом свете зеленой горелки.

Когда я вхожу, они смотрят на меня с немой мольбой. Они ждут от меня последнего ободряющего слова, чтобы снова услышать заверения в том, что они непременно скоро выздоровеют и скоро вернуться в Италию. Пользуюсь подходящим моментом, чтобы объявить, что утренняя месса состоится именно в их палате и что за этой мессой мы обратимся к Господу с сугубыми молитвами об их исцелении. А они, может быть, захотят причаститься?

— Так что завтра утром, пораньше, приду тебя исповедовать! Хорошо?

Такие минуты приносят наибольшее утешение, потому что это минуты наибольших приобретений. Я не собираюсь использовать милосердную любовь как средство шантажа, для того чтобы заставить кого-то

любить Бога. Но если я обращусь как священник к какому-нибудь парню, который чуть раньше почувствовал мою заботу о нем, я никогда не наткнусь на двери затворенные.

Так эти простейшие формы добротворения открывают путь к другим, более совершенным, которые, возможно, в иных обстоятельствах никогда не были освоены. Солдаты чувствуют, что благодаря этому вокруг потихонечку распространяется атмосфера добра — несколько крупинок ладана, которые отныне будут куриться на окровавленной мировой жаровне.

МГНОВЕННЫЕ СНИМКИ В СТЕПИ

Для подножия креста мы доставили на кладбище драгоценные плиты черного мрамора, которые до вчерашнего дня служили основанием мирскому памятнику.

Почти столетний старик с явным одобрением сопровождал нас до самого погоста, когда лошади тащили по пыльной дороге три большие глыбы мрамора. Теперь он каждый день приходит к кресту и подолгу смотрит на кладбище с истовой беззвучной молитвой.

Однажды я пошел к нему домой вместе с лейтенантом медслужбы, чтобы поблагодарить его за гостеприимство, оказанное несколькими нашим солдатам. Мы тогда еще только вошли в деревню,

прибыв почти сразу же после передовых частей; и он одним из первых дал нам кров и сошелся с нами.

— Господь да благословит вас, — сказал я ему, в числе прочего. И эти мои слова так растрогали доброго деда, что он позвал всё свое семейство и с чувством воскликнул: «Господь благословляет нас!»

У этого бедолаги была своя история.

Он всегда был в высшей степени ревностным христианином: его подлинно *мужская* вера не угасала даже в самые трудные дореволюционные времена.

Но с приходом большевизма он почувствовал, что под угрозой находится и нечто в его душе; он заперся дома, как в келье, в окружении своих икон, и приготовился защищать их любой ценой.

Церковь в Александровке сожгли, в Каменской — превратили в склад; с колокольни в Кариньской сняли кровлю, а потом снесли саму колокольню.

После каждого такого происшествия, после каждого такого кощунства Ивану казалось, что ему самому нанесли тяжкую рану. Но плакать было бесполезно, — и он удалился в свою избу, готовый защитить свою веру от кого угодно. Неужели даже дома он не мог верить и молиться так, как велела ему его совесть?

Но революция и осквернение святынь пробрались и в стены Ивáновой избы: двое внуков, пойдя в школу, сразу же начали смеяться над его

обычаем широко креститься перед вкушением пищи и над другими действиями, которые он совершал в течение дня во имя Божие.

“Свобода от предрассудков” у этих юношей с годами росла и выросла до такой степени, что старику пришлось скрывать даже иконы, убрать все внешние признаки своей религиозности, отказаться от своих обычных молитв. Но в сердце его жила мука. Каждый вечер, когда никто его не видел, он доставал из-за кровати иконы св. Николая Чудотворца, Богородицы и Спасителя и в долгих духовных беседах вверял им скорбь своей души о повсеместном истреблении религиозных ценностей, учиняемом большевиками.

Но особенно скорбел он о своих домашних — о тех двоих безжалостных юношах, что насмеялись над ним за его веру. Они говорили, что Бога нельзя увидеть, значит, Его нет. Он отвечал, что надо уметь Его видеть. Но ему хотелось привести какой-нибудь более сильный довод, опереться на какое-нибудь более действенное доказательство. Он хотел взять реванш: извлечь из-под спуда всю ту уверенность в бытии Божием, которую он носил в своем сердце, с тем чтобы просветить эти юные умы, испорченные школой и пропагандой. И в своем тайном плаче он ожидал с надеждой дня освобождения.

Когда старик увидел, как по деревне проходят победоносные войска, он почувствовал, что

время пришло: многое разрушено, многое потеряно, но под развалинами тлеет огонек духа, который должен теперь возгореться. Поэтому-то он и обрадовался до слёз, когда услышал, как иностранец произносит перед его домашними имя Божие.

И потому же каждый день он с трудом прибредает к кресту на кладбище. И говорит со всеми, охотно, много: показывает свои иконы (вышедшие, как и его вера, из катакомб к чистой радости жизни), которые еще несут на себе явные следы двадцатилетнего мученичества.

На улице "1 мая" у меня есть еще один друг. Когда мы появились в К., он, узнав, что я священник, сообщил о своем желании повидаться со мной.

— Приходите конечно, буду очень рад!

И вот однажды передо мною возник человек лет шестидесяти, застенчивый и смущенный, с кепкой в руках. И едва переступив порог, он, явно опасаясь услышать отказ, стал приглашать меня к себе домой, да не просто в гости, а на житьельство.

Естественно, я не мог принять такое приглашение: помощь раненым может понадобиться в любой момент, поэтому и ночью мое место — в госпитале.

— Я скажу какому-нибудь офицеру, что у вас есть комната...

— Нет, батюшка, — прервал он меня и добавил умоляюще: — Мою комнату я приберегу для вас, вот захотите немножко отдохнуть — и ко мне!

Так мы и договорились. И теперь всякий раз, когда мне удастся забежать к моему другу в дом на улице "1 мая", меня ждет там праздничный прием.

Он расстилает ковровые дорожки, по которым должен пройти священник; потом усаживает меня на богато украшенный стул с высокой спинкой, который стоит в красном углу, под иконами; затем, позвав всех своих домашних, ведет меня посмотреть свои священные книги, и в первую очередь — на престольное Евангелие, очень драгоценное, с многочисленными виньетками и миниатюрами. Меня трогает до глубины души столь большая вера, и я все больше убеждаюсь в том, что Россия не умерла для своих славных духовных традиций.

Лёня был один из тех мальчишек, что в первые дни после нашего прихода приходили к полевой кухне в поисках крошек.

Теперь он мой ординарец.

Ему пятнадцать, он настоящий казак, глаза его светятся мечтательным умом сынов степей, а на сердце... что у него на сердце?

Он меня любит: относится с уважением, но в то же время потихоньку укорачивает дистан-

цию и с утра до вечера засыпает меня вопросами об итальянских нравах и обычаях.

Его глазам открывается новый мир. Он видит открытку с небоскребами и спрашивает: "Это Москва?"

Видит площадь с трамваями или со световой рекламой: "Это Харьков?"

Он с восторгом разглядывает предметы — кухонные принадлежности, различные изделия бытового обихода.

— А эти кто сделал? Они английские?

— Слушай, Лёня, выкладывай: что ты все-таки думаешь о нас, итальянцах?

Он, не таясь, отвечает, что всегда представлял себе Италию малокультурной, дезорганизованной и нищей страной.

— В Италии есть поезда?

Дома из соломы?

Автомобили?

Узнавая истину, он простодушно влюбляется в итальянцев и говорит, что любой ценой хочет поехать в Рим со мной.

Как-то я застиг его за распеванием песенки об итальянцах с какими-то чудными словами.

Спрашиваю, что они означают, и он, ударяя себя по лбу и краснея, извиняется: "А я про это и не думал".

Пропагандистская песенка?

— *Italjaški kušajut sobaka...* (Итальянцы едят собак!..)

Он стелит мне совершенно нелепым образом. Каждый вечер мне нужно заново сообразить, как найти щель между простынями: не понимаю, какими правилами он руководствуется... А может, он просто никогда не видел постельного белья?

О религии — ни малейшего представления. В школе он о ней ничего не слышал.

А дома?

Его бабушка тайком молилась по вечерам.

— А ты?

— *Ja níznaju, absolut níznaju!*

Он читает с большой жадностью и сильно любит музыку.

Как-то утром, в 5, мой ординарец приходит меня будить со слезами на глазах.

— Что такое?

— В Ворошиловске умер мой отец.

— Как так, разве он не умер уже давно, в Днепропетровске?

На самом деле нетрудно понять, в чем причина недоразумения. И все же: этот-то отец — настоящий? А ведь есть еще мужчина, с которым сейчас живет Лёнина мать...

Говорю ему, что, если он хочет поехать попрощаться с отцом, я могу помочь: отправлю его автоколонной до Ворошиловска. Пока же я прошу солдат умерить их обычную веселость и разделить с Лёней его горе.

А он как ни в чем не бывало, поёт целый день.
Уехал Лёня, не предупредив домашних.
Вот уже две недели о нем ничего не слышно.
Вчера я встретил его мать, спрашиваю: «*Godie*
Leonia?»

— *Nichevo ja niznaju!*

Им и дела нет. Но разве не тревожно, что парень один, далеко от дома, среди бушующей войны? Сегодня он, наконец, вернулся.

Ведомый скорее инстинктом, чем желанием, он вернулся к исполнению своих прежних обязанностей в столовой. Ему и в голову не приходит пойти сообщить матери о своем возвращении.

Может быть, он не испытывает к ней интереса?

Скорее всего, он не чувствует привязанности к семье, в которой, судя по всему, для него нет места. Может, он и родился случайно?

Сколь же весом, о Боже, этот удар топора, нанесенный по корням древа жизни!

На пригорках у реки мы обнаружили молотилку, которая работает... *ab immemorabili** подле бесчисленных скирд пшеницы. Механизм этот закреплен в земле и устроен так, чтобы сама солома служила пищей для движка.

Как давно трудятся тут эти люди, которые, похоже, ведать не ведают о войне?

* С незапамятных времен (лат.).

Никто не знает. Но ясно, что здесь молотба не должна прекращаться никогда.

Сначала тут были русские — и они молотили для русских. Потом пришли немцы — и они стали молотить для немцев. Они дают зерно всем, во имя *доброй земли*, — как солнце, которое всем светит — и добрым и злым.

Один офицер, специалист по сельскому хозяйству, подверг тщательному изучению деятельность колхоза имени Молотова, особенно в части производства зерновых; после внимательного и объективного рассмотрения он заключил, что из-за громадного растранивания злаков и зерна при косьбе, транспортировке, молотбе, заготовках должно пропадать никак не менее сорока процентов урожая.

Он отмечает:

- 1) что работники не испытывают интереса к труду;
- 2) что масштаб обработанных земель велик, но это наносит ущерб качеству продукции;
- 3) что машины *чрезмерно* заменяют человеческий труд.

Но главное, отмечает он, не хватает *хозяина*. Всё обезличено — и царствуют безответственность и безразличие.

Даже в захолустных деревнях, затерянных в полях, школьное образование организовано образцово.

Церквей нет.

Школа заняла их место. Как правило, девять классов: такое образование общеобязательно; лучшие продолжают затем учебу за счет государства.

Обучение построено так, что за девять лет детские, а потом юношеские мозги полностью приучаются к новым большевистским идеям.

Крен в сторону технических дисциплин — главная отличительная черта преподавания в русской школе: гуманитарное образование вымирает. Изучаются машины, законы механики, производство домашней утвари и бытовых принадлежностей — и все это в резком свете лозунга "экономика превыше всего". Такова новая религия: производить, производить, безостановочно, безгранично, безусловно. Превратить Россию в вулкан, из которого извергались бы машины и изделия, расходящиеся по всему свету, и принести всем новое счастье: возможность претворять в машину... самого человека.

Потому-то у нас и создается впечатление, что людям науки не свойственны чувство благодарности и человечность. Вместо гуманизма бал правит холодный антигуманизм.

Капитан М., несомненно, рисковал жизнью, выхаживая несколько ночей подряд, в очень опасных условиях, доктора Татьяну, захворавшую дифтеритом. Все признают, что исключительно благодаря его заботам болезнь угасла.

Однако теперь, когда он проходит мимо нее, она с ним даже не здоровается.

“Nichevo!”

Вот мгновенные снимки:

В населенном пункте X, во время последней русской бомбежки, когда все мы ринулись в укрытия, женщина, что приютила нас, сочувственно засмеялась.

— Но почему вы не идете в убежище вместе с нами?

— Какая разница, терпение надо иметь.

И осталась одна в доме.

Длинные вереницы искателей хлеба отшагивают многие сотни километров с мешком за спиной и с тележкой, которую они волочат за собой в пыли. Подчас они на целые недели застревают на обочинах дорог, потому что выбиваются из сил и ждут удачи. А кто же ждет их дома?

Одна женщина пришла сюда, на Дон, из Рыкова, а это больше четырехсот километров. У нее два небольших мешка с пшеницей и семечками — всего килограмм на семьдесят. Дома у нее осталась дочка; она в пути 18 дней и теперь вот не в состоянии идти дальше.

— Как же вы доберетесь до дома?

— Не знаю, как-то устроимся. Каждый год так.

Русские находятся в каких-то очень панибратских отношениях со смертью. Мы нашли телегу с парнем лет двадцати двух, в обнимку с сорокалет-

ним мужчиной, скончавшимся много часов назад. Парня жизнь еще не оставила, и видеть столь тесное соприкосновение со смертью нам было страшно.

В первой половине сентября стала распространяться инфекция: дифтерит, сыпной тиф, холера?

Мы устроили небольшой лазарет. В отдельно стоящем доме постелили несколько рогожек; работают здесь русские медсестры.

Кровать с металлической сеткой там только одна, и отведена она для самого тяжелого больного. Но так как каждый день кто-нибудь умирает, между остальными часто разворачивается ожесточенная борьба за место на опустевшей койке. В конце концов ее предоставляют, как и положено, самому тяжелому, который вступает во владение койкой с лицом печальным и безучастным, предчувствуя свою близкую кончину. Однако все это кажется им совершенно естественным, а нас они считают *чужаками*, из-за того, что мы удивляемся такому их поведению.

Неужели расстояние между жизнью и смертью столь невелико? Русский ответил бы, что его и вовсе нет, особенно — новый человек большевистской формации. Общеизвестно, что его душа, создающаяся на фоне безмолвия степи, однообразия ее небес, густого сумрака ее ночей, всегда тяготела к фатализму. Русский говорит

так: «Та серая мгла, что вздымается в десяти шагах от моей избы, — цвет земли или цвет неба?»

Неизвестно. Небо и земля перемешиваются, день и ночь, долгими зимами, неотличимы; жизнь и смерть уподобляются друг другу.

И вот это устрашающее содержание жизни русская душа чувствует постоянно и везде — в искусстве и в философии; когда она смеется и когда плачет; когда трудится и когда отдыхает. И отсюда-то и берет начало та нота печали и, нередко, глухого отчаяния, которая образует привычный фон русской драмы.

Кроме того, в этих людях, которых мы встречаем на здешних дорогах, ощущается мощное воздействие большевистского воспитания. Тяжелый и превратный рок, который (согласно ложной русской религиозности) каждое мгновение противостоит человеческой воле, падает на них как последняя тень мнимой *трансцендентности*.

Большевизм внес ясность: поскольку трансцендентное — химера, всё безжалостно *имманентно*, и более того, всё есть игра материи и движения молекул. Души нет, Бога нет, духа нет, ничего нет в человеке, кроме животной природы. Тогда что же такое жизнь? И что такое смерть?

К тому же в наше время, когда в жизни так много оупляющего, так много позывов крови, кошачьих инстинктов, разве не бесконечно прекраснее смерть, в которой так много безмолвия

и сумрака, столь привлекательного своей неподвижностью?

Именно так рассуждает человек, умирающий в моем лазарете: о крестном знамени он не имеет представления, учтивого обращения не понимает. И в какой-то миг (перед самой кончиной), увидев, как плачет от жалости мой ординарец у его изголовья, он будто наполняется священным ужасом, прикоснувшись — но слишком поздно! — к миру, который он едва разглядел и сразу же потерял.

Что, что? Говорите!

Но он уже ничего не слышит.

“НА ВОСТОКЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН?”

Вечер.

Тяжелый, нервный, полный кошмаров.

Б. заставил стоять навтыжку пятерых или шестерых немцев, которые нагло вели себя с нашим новаром. Директор госпиталя поцапался с командиром немецкой санчасти. Сейчас он спокоен, но, вероятно, буря была нешуточная. По поводу столкновения он замечает лишь, что немцы — невыносимые хамы.

Красивейший закат. Солнца уже не видно, но всё небо — в сполохах света, который сосредоточивается вокруг нескольких перистых облаков, висящих на головокружительной высоте. Здесь

внизу, среди этих домов, воздух перенасыщен пылью так, что нечем дышать; но там, в небесах, — хрустальная, волшебная чистота, подчеркивающая контраст между небом и землей.

Немецкое радио продолжает нас оглушать. Вот бы Италию послушать!... Но нет. Только и слышно: «... *Vor Stalingrad ist...*»*

А это можно пропускать мимо ушей. Сталинград — как мы уже знаем — большой блеф, а Германия — чудовищная машина: нагромождение стали, в котором дух задыхается.

В атмосфере скапливается все более глубокое чувство недоверия к немецкой пропаганде: русские не только не уступают под Сталинградом, но угрожают разжечь пожар сразу на нескольких направлениях. Мы замечаем, что, судя по всему, нас решили принести в жертву; и, глядя в лицо моим людям, которые молча расходятся по койкам, невеселые, но еще не догадывающиеся о том, что на нас надвигается, я с возрастающим раздражением вспоминаю фразу того немецкого офицера, что гостил у нас несколько дней назад: «*Alles gute ist Instinkt*»**. Почему мы тоже должны нести на себе горькое бремя этой кровавой морали?

Да, тяжелый вечер.

Мои друзья ничего не говорят; но у всех на лицах написано чувство растерянности. За эти

* На подступах к Сталинграду (нем.).

** Все хорошее — от инстинкта (эд., нем.).

день, когда народ перестал слышать Его голос и стал искать себе иного бога.

Срочно требовался Христос на фоне комьев земли и токарных станков: вот если бы Его икона была из глины или из железобетона и при этом Он выглядел как живой Христос Евангелий, Иисус из Назарета — трудящийся (а значит, бедняк с бедняками) и искупитель...

И тогда пришла на помощь философия.

Ведь философия тоже ищет искупления, ибо нет истинной философии, в которой бы со всей ясностью не ставилась проблема жизни.

Реакция на капитализм предоставила простую схему развития коммунизма. Впоследствии, особенно здесь, в России, выявилась его истинная природа, когда он предстал философией жизни.

Прежний человек был человеком мертвым: почему? Может быть, потому, что он верил в личную судьбу, или потому, что рассчитывал на высшее существо, которое его спасет, или потому, что трудился ради неба, а не ради земли?

Кто знает?

Одно ясно: новая философия нанесла удар именно по этим трем основным точкам в человеке — заменив индивидуальную судьбу коллективной, веру в Бога — верой в человека, душу — телом.

В большевизме есть нечто от чуда. Следуя своей железной логике, он оторвал миллионы людей от их прошлого; затем, определив, каким должен

быть новый тип человека, он мобилизовал всю современную технику на его воплощение в жизнь.

Антибуржуазные, антизападные, антикапиталистические мотивы представляются мне случайным моментом в истории мощного становления и развития большевизма: душа движения, на мой взгляд, скорее — в его неисчерпаемом коллективизме и, еще глубже, — в попытке заменить — в открытую — человека, созданного Богом, человеком, созданным нами (а значит, состоящим из одной материи). Думаю, что внешние признаки еще изменятся в соответствии с потребностями и обстоятельствами; но центральное ядро и внутреннее устремление останутся прежними.

Беда, если кто-то скажет, что коммунизм преднамеренно античеловечен: полагающий так, не понимает его души. В действительности это всё та же тоска по освобождению, только пережившаяся в пятилетние планы и в машинную цивилизацию.

Если человек одинок в мире, ясно, что ему приходится пробиваться к свободе собственными средствами. Отсюда — превозношение техники, которое приводит к тому, что машина становится богом. Но *богом не самодостаточным*, а подчиненным коллективному счастью.

Россия поражает всех своими промышленными объектами, техническими достижениями, цифровыми показателями пятилетних планов.

Но это всё внешнее. Ее внутренняя суть обнаруживается в ином — в значении, которое она придает труду, положенному в основу суждения о человеке: “Я существую, поскольку тружусь; и я настолько хорош, насколько много я тружусь”. Следовательно, все западные *надстройки* и наслоения подлежат безжалостному искоренению. Слишком суровый подход? В дело вступает мистический элемент. Маркс бы этого, конечно, не одобрил. Но русский народ, который по природе мистичен, создал религию даже из этой нерелигии, и, постоянно взывая к мотивам земных, непосредственных, конкретных радостей, старается исцелить глубокую печаль, которая лежит в самой основе этой концепции жизни.

Положительные стороны?

Возможно, их больше, чем нам представляется. Есть человек, обретенный заново. Который верит и поступает так, как думает, и на основании того, что можно потрогать руками. Он отличается от западного человека (этого клубка противоречий и непоследовательности); непохож он и на христианина, верящего и в то, что нельзя потрогать руками.

Он — человек дела, он не мечтает и не расходует по пустякам. При этом он живет не рентой и не эксплуатацией, а тем, что сам производит. Не так, как западный человек, который бывает, неизвестно по какому праву, эксплуататором чужого

груда или вообще бездельником; и не так, как христианин, который из любви к ближнему умеет жертвовать собой даже ради людей праздных.

Он — человек обобществленный: атом целого. В отличие от западного человека, который может по-буржуазному быть *хозяином* других, и в отличие от христианина, который находит в себе самом цель собственного спасения.

Культура, сфера развлечений, образование, пропаганда, экономика, политика — всё было поставлено на службу этой концепции человека. И если личности здесь не удастся выразить себя полностью, то лишь постольку, поскольку с самого начала ее по всей науке принесли в жертву коллективизму.

Вместе с тем еще сравнительно недавно человек был здесь несчастным оборванцем, безликим и безымянным, принесенным в жертву прихотям хозяина; сегодня он по-прежнему (если угодно) не имеет имени и лица, зато он — трудящийся, идущий от победы к победе, принесенный в жертву одному лишь коллективизму. Школы, физическое воспитание, трудовая практика на производстве постепенно подготавливают его к такому мировоззрению. Мировоззрение, конечно, спорное; но и оно прогресс для тех, у кого раньше никакого не было.

— И двадцатилетняя девушка, у которой вчера представления о мире ограничивались про-

странством ее избы и которая не умела написать свое имя, теперь становится танкисткой, летчицей, инженером или шахтером. Она — в упоении от завоеваний, от обретенного освобождения. И считает себя счастливой.

... Вот и мой ординарец часто напевает песенку, в которой говорится о счастье.

— Слушай, Леня, а что это за счастье такое?

— *Ja nisnaju, absolut nisnaju!*

И что же?

ФРАГМЕНТЫ ЭПОПЕИ

Несколько дней, как бои прекратились: сейчас теряются в ночи и последние орудийные залпы — бухают с перерывами, как заключительные реплики в яростном диалоге.

Эта передышка очень кстати после ураганного месяца. Теперь, за столом или долгими вечерами, мы по очереди вспоминаем о самых вихревых почвах и о самых беспокойных днях, когда наши нервы подвергались тяжелым испытаниям.

Есть время ответить на письма, перечитать их, ведь прежде мы успевали только пробежать их краем глаза и бросить как попало па столлик.

Есть время мысленно вернуться, хотя бы на минутку, в далекие края — к друзьям, к родным, к старому доброму миру, который, казалось,

уже навсегда исчез, — особенно после последних событий.

Друзьям мне хотелось бы послать что-нибудь живое, чтобы они почували запах этой земли и неистовых страстей, ее сотрясающих.

Например, я мог бы набросать несколько новелл, опираясь на военные эпизоды последней декады августа, когда наши кавалерийские эскадроны провели несколько легендарных *ка...* которые привели в изумление врагов и союзников:

"... Три дня в степи видели мчащихся лошадей, неударжимых, белых от пены, летящих во весь опор, — живых свидетелей первой кровопролитной победы итальянских солдат в России".

Или воспеть поступок нашего альпийского стрелка? Справившись чуть ли не в одиночку с трудной ситуацией на подсолнуховом поле, живой и невредимый рядом с горой трупов, он склонился над раненым русским, который оставал в горячке, чтобы напоить его водой из своей фляжки.

"В России возникнет легенда, и дети будут рассказывать ее друг другу, уютно устроившись в своих избах, когда за окнами свистит северный ветер.

Жил-был в балках Гадюши солдат, с перьями на берете, весь в голубом, как южные моря.

Глаза у него были цвета неба, а голос — как музыка Мусоргского.

В бою он был неудержим как танк; но когда смолкала стрельба, он обходил раненых, находил умирающих и утешал их, как добрая мать.

Но однажды лавина с севера обрушилась на Гадюшу; солдат в голубом сражался как лев, но был сметён. И прежде чем упасть, лицом к солнечным краям, он вскричал: «*О Боже, о Италия, о мама!*» И другие павшие приподняли головы и повторили его слова.

Потом его больше никто не видел. Но каждый раз, когда в степях Гадюши свистит ветер, если прислушаться, можно различить эти слова. Разве ты не слышишь: «*О Боже, о Италия, о мама!*» И теперь там, где сложил голову герой в голубом, стоит в подсолнухах крест».

А может быть, без особых выдумок, напишу:

«В пустыне распустился цветок, — цветок героизма и рыцарской доброты нашего солдата, который в бою — сама сталь, но при виде страдающих обнаруживает трепетную чуткость.

Этот лик Италии поразил всех в этой буре ненависти и насилия: русские, немцы, венгры, румыны и хорваты — все почувствовали, что могут что-то позаимствовать у нас.

Такой след оставляют за собой наши армии, след, в котором трепетно дышит всё самое рыцарское и самое христианское, что живет в душе нашего народа».

Но до новелл ли тут?!

Вокруг — угнетающая атмосфера. Ведь это не конец боев — просто пауза на нашем участке. Но потом-то что будет? Оптимистов больше не осталось: октябрьская грусть, укорачивающиеся дни, шпионы там и тут, сталинградские разочарования...

Кстати, какой там, в Сталинграде, пылающий костер! Пылает небо, пылает земля, пылают и люди, яростно бьющиеся за победу.

Но почему в итальянской прессе осмеливаются утверждать, что *в Сталинграде идет борьба между двумя цивилизациями — цивилизацией духа и цивилизацией материи*? Мы бы под этим не подписались.

Уже недели две, как немецкое командование тоже нервничает.

Штатские русские смотрят на нас с жалостью, а раньше — старались с нами подружиться.

Лёня все время читает книгу о трагическом отступлении Наполеона.

— Слушай, Лёнь, скажи честно: почему ты всё сидишь и думаешь над историей Наполеона?

— Синьор капеллан, если бы вы знали, как тяжело зимой в России! И в слёзы.

Я знаю, что Леня меня любит, что очень нас уважает, что и знать не хочет ни о Сталине, ни о большевиках; значит, если он так озабочен тем, что может произойти русской зимой, наверно, что-то слышал от штатских.

... Останки были захоронены на нашем воинском кладбище. Вчера уехали последние военнослужащие из нашей части.

И Лёня. Прежде чем пойти навстречу его твердому желанию следовать за нами, мы попросили его принести записку от матери, с ее согласием отпустить сына. Может, по безалаберности, а может, относясь к этому делу намного легче, чем мы предполагали, женщина до сих пор никак не удосуживалась обрадовать сына таким "документом".

Но накануне нашего отбытия я сам пошел поговорить с ней: "Знаете, ваш сын по-прежнему стремится уехать с нами. Если вы не против..."

— Совершенно не против.

Она берет клочок цветной бумаги, валявшийся на верстаке и, не колеблясь ни секунды, пишет на нем: "Разрешаю моему сыну ехать с итальянцами".

Теперь из наших остался только я, вместе с сержантом и двумя рядовыми, чтобы закончить работы на кладбище. Мы посреди немцев и русских, и слишком уж нам одиноко. Днем работаем безостановочно, но по вечерам наваливается груз одиночества.

Где-то сейчас наши?

Сколько между нами километров?

Когда мы сможем уехать?

Живем на одних семечках, потому что съестные припасы кончились; но потом, уже перед самым отъездом, многократно сфотографировав

кладбище, мы чувствуем, что нам становится грустно, как бывает, когда покидаешь дом; и, обходя могилы наших усопших, мы не можем сдержать слез.

ЗАГАДКИ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Первые туманы в России несут в себе весь ужас студеных зимних дней. Неба не видно, земли не видно — ничего не видно.

Есть только человек, свернувшийся калачиком, закрытый для образов и звуков, озабоченный лишь тем, как бы защититься от злых, ледяных зимних ветров.

В таких условиях мы и пускаемся в путь, рассчитывая через несколько дней добраться до Каптемировка, где нас ждет наше командование.

Путешествие начинается с незапланированного привала на краю дороги, где мы ожидаем полупутную автоколонну. Мы смешиваемся с русскими штатскими, которые ждут уже несколько дней; и, не замечая того, становимся, как они, и более того — как *кто-то* из них.

Мы сидим на мешках, как они; как они, мы начинаем с надеждой крутить головой, едва послышится шум машины; и лузгаем семечки, которыми они по-братски нас угощают.

— *Cholodno.*

— *Ni caros ita* (Нельзя ехать).

— *Ni caros vojna* (Война — штука нехорошая).

Они рассказывают, что вчера, как только немецкое командование расположилось в школе, где раньше был итальянский госпиталь, здание разбомбили.

— А почему же этого не делали раньше, когда там были мы?

— *Italianski dobra* (Итальянцы хорошие).

Вот и итальянская автоколонна: место, разумеется, находится для всех. И русские — женщины и дети, — забираясь в машины, благословляют Италию.

Мой водитель — грустный парень, которому война уже поперек горла. Одну зиму он тут уже отмотал; говорит откровенно, что вторую не выдержит.

— У меня есть право вернуться на родину, и если мне не дадут им воспользоваться, я уже не вернусь домой.

Я пытаюсь утешить его; но сейчас только одно может его порадовать — новость о замене.

Летом я мучился от пыли; теперь настал черед пытки холодом. В кабине от стужи зуб на зуб не попадает и ноги деревенеют, а ледяной воздух так и свистит в щелях, даже самых крошечных.

— Это все ерунда, господин лейтенант, вот через месяц посмотрите, как слезы будут наво-

рачиваться. В помещении хоть еще можно отогреться, но если надо куда-то ехать — это беда...

Вновь перед нами Миллерово, правда, на сей раз — при свете дня.

Здесь мы даже ненадолго остановимся. Дело в том, что Миллерово — один из главных сортировочных центров для войск излучины Дона и Сталинграда. Ошеломляюще интенсивное движение поездов, горы боевой техники и других материалов, которым нет конца; оглушительный грохот всякого рода со всех сторон.

До недавних пор в этом городе была ставка нашего командования; сейчас еще осталось несколько важных складов. Итальянские, немецкие, румынские, хорватские солдаты; и даже русские: это невероятно элегантные казаки, объединенные в отдельные батальоны, которые уже сражаются бок о бок с немцами. На них — традиционная казацкая форма; на своих особых конях они молниями прорезают степь. Миллерово — их столица.

Сегодня вечером вместе с другом я посетил господина X, человека, очень известного в городе.

Скромный дом, сердечная обстановка, замечательная встреча.

Говорит он медленно, раздумчиво. мыслит глубоко.

Разговор начинается с обсуждения военных событий. Наш собеседник, профессор, дает сдержанную оценку немецкой освободительной кам-

пании. Совсем не упоминая о большевизме, он вместе с тем открыто говорит о новых запросах русского народа, который, по его мнению, уже вполне созрел для свободы мысли и свободной жизни.

Опытное познание большевизма открыло глаза забитой массе, и если бы сейчас удалось вернуться к свободному общественному устройству, русский народ оказался бы более подготовленным к нему.

— А какие у Вас прогнозы о дальнейшем ходе войны?

Он не считает, что России приходит конец. Углагает, что перед немцами стоят еще крайне тяжелые задачи. Большевики вовсе не переживают кризис, ни военный, ни политический; кроме того, советская пропаганда, конечно, не допустит внутреннего краха.

— Но разве население не устало?

Население — не главное: вот уже двадцать лет, как большевизм ведет борьбу, совершенно не считаясь с желаниями народа. И нельзя сказать, что предыдущие этапы борьбы были менее кровавыми, чем нынешний.

— А что с религиозным вопросом?

Свой ответ профессор начал с признания: оказывается, он еще и священник. Когда его лишили возможности священнодействовать, он, следуя семейной традиции, сразу же принялся за изучение медицины и впоследствии дослужился

до первых постов в системе государственного здравоохранения.

В последние предвоенные годы он занимал важный пост в городе К. Война забросила его в Миллерово, где он зарабатывает на жизнь частной медицинской практикой. Вопросами религии он всегда интересовался особенно глубоко, надеясь со временем вернуться к своему служению в Церкви.

— Не кажется ли Вам, что этот день пришел?

Он отвечает утвердительно, но, как мы замечаем, не без внутренних колебаний. Да и сам факт, что он до сих пор не обнаружил своего священства перед оккупационными властями, свидетельствует о том, что, по его мнению, обстановка к этому пока не располагает.

Профессор разделяет тревогу о судьбе Церкви в России, столь распространенную на Западе, но смотрит в ее будущее с оптимизмом. Попытка большевиков дехристианизировать массы имеет исторические прецеденты: подобные попытки уже предпринимались другими правительствами в Европе, например, во время французской революции; и, несомненно, итог будет таким же.

Он не думает, что нынешние большевистские вожди способны к искренней эволюции с возвращением к традициям. Но это не важно. Важно, чтобы в России жило и, более того, всё возматало чувство Бога.

— А как Вам кажется, возвращение России к христианству и возрождение русской Церкви может пройти легко?

Здесь нужно различать разные моменты: возвращение массы к христианской религии уже происходит, несмотря на то что внешнее впечатление противоположно. Будущее же зависит главным образом от власти предрержащих. И если откровенно, его не приводят в восторг обещания немцев в этой области, потому что их действия могут спровоцировать появление новых трещин религиозном единстве России, и без того истерзанном расколами.

Возрождение Церкви произойдет потому, что переполнилась чаша мучений, которым ее подвергли; труднее всего при этом будет восстановить духовенство и священноначалие, ныне рассеянное гонениями.

Ему бы хотелось, чтобы это произошло как можно скорее, пока живы последние представители старой Церкви; ибо, если подождать еще десять-двадцать лет, никого уже в живых не останется, и Россия превратится в землю обетованную для миссионеров. Впрочем, если такое случится, это может свидетельствовать о том, что русское духовенство не справилось — по чьей вине? — со своей миссией.

— А что Вы думаете о соединении с Римом?

По этому поводу у него весьма необычные мысли.

Кризис, который в настоящее время переживает русская Церковь, является не столько догматическим, сколько моральным и дисциплинарным. Виновата в этом сама русская Церковь, которая позволила национализму вытеснить из нее евангельский субстрат и, вследствие этого, — отъединить ее от реальной жизни, как сухую ветвь, отсеченную от ствола; именно поэтому реакция на последние гонения не смогла стать такой сильной, какой требовали обстоятельства.

Когда мы уходим, на улице уже ночь. Мой коллега ведет меня в барак, оживленно комментируя высказывания профессора; я рекомендую ему почитать труды Бердяева и Соловьева.

Позавчера вечером город дважды подвергся сильной бомбардировке: попадания пришлось на аэродром и на некоторые места стоянки локомотивов; других разрушений не было. Склады боеприпасов и горючего остались целы — в противном случае весь город взлетел бы на воздух.

А вчера несколько бомб, сброшенных наугад с высоты 8000 метров, поразили штаб и несколько барачков: жертвы немногочисленные, ущерб легкий.

Сегодня возник пожар в офицерской столовой при Штабе. Думают, что это — вредительство. Но наше начальство не собирается устраивать расследование — все равно через пару-тройку дней мы, итальянцы, передвинемся к северу.

То, что в городе и в окрестностях активно действуют партизаны, — уже ни для кого не секрет.

Когда же нам дадут вагон, чтобы мы могли продолжить свое движение к Кантемировке?

Здесь, в Миллерово, нам не по себе: да, тут мы обнаружили часть своих товарищей и воссоединились с ними, но все мы хотим поскорее добраться до основных сил нашего подразделения. Эти бомбардировки и эти пожары — признаки нарастающей активности неприятеля — побуждают нас мечтать о восстановлении единства воинской семьи; быть с ними, а там уж... или пан, или пропал!

Да хранит нас Господь!

ДЕНЬ УСОПШИХ

Уже день, как мы ждем у железнодорожных путей сигнала об отправке. Сейчас немцы сообщают нам, что, вероятно, мы отправимся завтра поутру.

Неплохо. Значит, и этой ночью нам придется торчать здесь, *a la belle étoile**

Люди нервничают, но смиряются перед фактом. На кого нам пенять? На мороз? На этот эшелон с боеприпасами, который стоит у нас под боком? На русских, которые ночью будут опять скидывать на нас свои бомбы? Или все-таки, скорее,

* Под открытым небом (фр.).

на лейтенанта Б., который, уезжая, оставил нас без одеял?

Удачу или беду принесет нам эта непонятная Кинтемировка?..

У солдат, забившихся кучей в угол вагона, в по-
жках хоть какого-то тепла, ужасное настроение из-
за плохих предзнаменований.

Они говорят: "Дорога-то начинается — хуже не
куда. Видели, что было вечером на товарной станции?"

Отправлялся поезд с женщинами. Куда? Хотя
никто этого не объявлял, но, конечно, в Германию.
Немцы собрали, обходя дом за домом, всех трудо-
способных женщин и, не известив о месте следова-
ния, загрузили их, как скот, в вагоны. На перроне
под козырьком скопилась толпа женщин: сестры и
матери с детьми; стоял страшный гвалт — прощаль-
ные выкрики, причитания, рыдания. Когда поезд
тронулся, женщина лет шестидесяти заплакала и
заголосила; потом, может быть, не в силах справиться
с отчаянием от насильственного расставания с
дочерью, она обрушилась на хватчиков с оскорб-
лениями. Ее расстреляли на месте.

Толпа мгновенно рассеялась, охваченная па-
никой; отъезжающие девушки рвали на себе воло-
сы от горя.

1 ноября: день всех святых

Мы провели адскую ночь. Как можно уснуть
в вагонах, заполненных густым пронизывающим

туманом? Мы разместились между тюками, пытаюсь укрыться хотя бы от ледяных струек воздуха, просачивающихся сквозь щели; но с этой задачей справиться не удалось, и мы не сомкнули глаз.

К тому же рядом со мной уселся лейтенант — управленец из госпиталя X, который стал поносить своего капеллана.

— Господи Боже! Ночью мы не спали, завтра — день усопших, не знаем толком, где окажемся, — а ты, В., приходишь расстраивать меня своими историями. Ну неужели тебе ни чуточки не стыдно?

Проезжаем через Черково — кладбище паровозов и вагонов. Ни разу во всей России не видал я такого кошмара: несколько тысяч вагонов разбиты, превращены в перекорёженную грудку металлолома. Немецкий бомбардировщик накрыл их в тот момент, когда мимо станции проезжал конвой с боеприпасами...

До нас доходят плохие новости с фронта.

— Что, идут какие-то бои?

— Нет, боев никаких. Но отмечена необычная активность в русских тылах у Дона.

— А наши что делают?

Возможно, будем наступать.

Вечером прибываем в Кантемировку.

Только семь, а уже темным-темно. Надо ли пытаться разыскать своих?

Мы пробуем это сделать, но безуспешно: сразу раздаются окрики часовых и выстрелы со всех

сторон. Спрыгиваем с поезда и обнаруживаем на уровне глаз вскинутую винтовку.

— Пароль!

— Сделай милость, убери свое ружье, нам и без тебя тошно! Сам скажи пароль.

— С.

Замечательно; но, учитывая все обстоятельства, лучше нам остаться в вагонах.

Еще одна адская ночь.

2 ноября: день усопших

Уже шесть: пора начинать разгрузку, а мне надо служить заупокойную мессу. Но мы в плену этого вагона, заперты наглухо, потому что железные двери замерзли и не скользят.

Две первые попытки взломать их чуть не довели нас до слез. Кто-то расслышал нас снаружи, и теперь нам помогают железными рычагами.

— Просвет появился!

Ну вот, еще один рывок, и в щель проходит голова. Мы свободны.

На заиндеветших рельсах, под порывами ледяного ветра мы сооружаем маленький алтарь, и я приступаю к святой мессе. Бесчеловечно держать людей в неподвижности на этом обжигающем ветру.

Но сегодня — день усопших, и они сами этого хотят. Что такое холод рядом со смертью?

Некоторые причащаются. Я представляю им пару коротких размышлений на тему дня, но с какой-то странной настойчивостью ко мне на что-то вновь и вновь приходят такие слова: "Это наша жизнь, уснувших?"

Солдаты, несмотря на утомительный переезд и на две бессонные ночи, трудятся на раскопках. Они не испытывают моего особого волнения во время мессы и, может быть, не совсем поняли мое слово. Потому что сегодня день уснувших, — всеобщим друг друга. Наши уснувшие далеко, но все же мы все здесь, близко, и даже так те, кто у нас здесь, не знают, что такое, но и сама смерть. Возлюбим друг друга. Евангельской любовью, жизнью мучимой мы можем разрешить проблему смерти. Все вокруг нас воспевают гибель, разрушение, восторг и если наша жизнь растворится в этих вещах, мы умрем, в смерти. Вернемся же к самим себе, куда где сияет вера в Бога, жизнь к нашим уснувшим, любовь к нашим близким, вера в нашу жизнь".

Разумеется, им я не сумел хорошенько разъяснить свою мысль. Но сам я вновь переживаю эту драму, которая переворачивала мне душу в Каширах, накануне кончины М.М.

Боже мой, что такое жизнь посреди этого урагана смерти?

Зима полна тайны, русские концентрируются на берегах Дона, немцы всё больше оседают

и, а холод такой, что выдерживать его уже нет мочи. Да еще эти предчувствия. Иногда кажется, что у степи теперь есть голос, — голос, полный трюных предзнаменований.

Принята почта: большая юрта пакки — ведь уже много лет ничего не приходило. Как же сейчас можно выжить в шух с головой, убежать в воспоминания!

Д. П. пишет, что часто думает обо мне, предположительно, как я веду поединок со светом и с ветром.

Моя сестра говорит, что она тревожится из-за меня слишком.

Х. как рвет, что в час больших испытаний он ждет меня со мной — своей молитвой.

Одна монахиня жертвует Богу свои скорби и твды — ради меня.

Кому-то из друзей мне завидует, другие спрашивают о новостях; знакомые ждут от меня длинных писем; некая женщина просит подробно рассказать о том, как погиб ее сын. Молодые ребята пишут наивные фразы, поздравляя меня с чем-то. Какелая, находящийся в 200 километрах, на этом же фронте, говорит, что *не умирает, но чувствует фреки* *защиты* *тогда*.

Сейчас у меня внутри говорят тысяча голосов, тысяча картин. Я закрываю лицо руками и вижу себя то в Гефсиманском саду, то на Фаворе.

Как же плачет душа, зажатая в тиски этих обстоятельств и переживаниями.

когда ей представляются дом, друзья, родина, солнце Италии! Я бежал, задыхаясь, не останавливаясь, ради апостолат, ради того, чтобы сделать немного добра. Но потом время от времени возвращался домой, видел родную землю, находил поддержку и утешение.

Тут — утешиться нечем.

Степь, рельсы, пушки, кладбища, хирургические инструменты, гробы. Томительное напряжение: ни на миг не остановиться, не вернуться, — сплошная мясорубка... Но и это можно обратить в добро. По крайней мере, здесь страдаешь: а физические и нравственные мучения все же чего-то стоят. Я распинаюсь за своих братьев; по Твоему примеру, Иисус.

К чему жить, возвращаться, снова видеть дом?.. Я верю в Тебя, и без этого вся моя жизнь, прошлая и настоящая, рухнет; а если я верю в Тебя, какая разница, что случится в будущем?

Сегодня — день наших усопших: вечером, перед тем как лечь спать (но где это будет?..), я помолюсь такими словами:

“Господи, какой у нас в этом году странный день усопших!”

В прошлом году я проповедовал в Х., и одна женщина подошла ко мне с вопросом, что я имел в виду, говоря о смерти как о *мистической мессе*. Но я и сам уже заметил, что слишком увлекся теоретизированием и абстрактными

рассуждениями. Теперь вот проповедую на практике: никто меня не слушает, никто не просит пояснить мысль; но я хочу целиком отслужить эту мистическую мессу, как ту, что служу каждое утро.

Какой-то голос нашептывает: «Так ты вправду собрался умирать?»

Я отвечаю: «Отстань; думаю, надо быть готовым ко всему».

«И вот, Господи, я не рассуждаю, не хочу строить догадки. Прошу Тебя: *Transseat a te calix iste*», но если дела пойдут плохо, хочу, чтобы кто-нибудь и мне подсказал молитву того альпийского стрелка: пусть радость жизни претворится для меня в радость смерти».

КТО ТАКИЕ ПАРТИЗАНЫ

Кантемировка.

Наше новое местопребывание — *Dom Sovietov*, дом партии, одно из главных зданий в большом поселке.

Кантемировка станет основным госпитальным центром ближайших тылов. Не настолько близким к передовой, чтобы его работе мешали боевые действия, но достаточно — для того, чтобы

* «Да минует меня чаша сия» (лат.).

оказывать неотложную помощь в самых тяжелых случаях.

В этом поселке также предполагается разместить главный склад армии, из-за чего повсюду вырастают груды всевозможных материалов.

Кроме того, здесь будет, так сказать, столица всех тыловых перемещений наших войск.

Приходят приказы, все более настойчивые, ускорить подготовительные работы в госпиталях: до истечения двух недель госпитальный центр должен быть готов принять несколько тысяч раненых.

Ходят тревожные слухи о намерениях русских. Превосходно налаженная система шпионажа оповещает врага обо всех наших перемещениях. Если прибывает рота берсальеров, они об этом знают; если выезжает автоколонна, они об этом знают; если ставим барак — они об этом знают!

Вчера взяли женщину с рацией, которая общалась с русскими. Сегодня она со своим аппаратом уже работает на немцев в отделе контрразведки. Но насколько она им верна?

Когда спускаются сумерки, часа в три пополудни, мы ощущаем, как на нас наваливается мрачное гнетущее чувство.

Тут не погуляешь: боишься, что за любой изгородью тебя ждет засада, в любом месте может скрываться ловушка. Все русские сидят по своим избам, примостившимся в снегу на краю

оврагов; все наши солдаты забились в свои деревянные бараки: и все-таки кто-то ходит.

«Партизаны!»

Кто же такие партизаны?

Это мужчины, женщины или дети, которые живут рядом с нами. Возможно, кто-то из них занимается на работу в госпитали или на склады; может быть, они дают кров кому-нибудь из офицеров или, если это девушки, — охотно флиртуют с нашими солдатами. Это глаза, глядящие в оба в наших штабах, уши, ловящие разговоры в наших кабинетах, — глаза и уши, которые потом, ночью, встречаются в какой-нибудь землянке или потаенном доме, чтобы сопоставлять полученные сведения, делать выводы, оповещать.

— Знаете, синьор С., я не доверяю ни одному русскому. Будем помогать им, если понадобится — лечить, но давайте держать их на расстоянии.

Но не все это понимают и я вижу, что в нас самих уже зарождается наше поражение.

— Скажи, Б., ты не боишься зимы?

Но это не физический страх перед надвигающейся бедой. Вглядываясь в тревожное чувство, которое уже много дней меня наполняет, я обнаруживаю в нем глубокую печаль, какая бывает у человека, осознающего ограниченность своих сил. На фоне этих бесконечных ночей и этой утрюмой зимы — что делают русские там, за Доном? Что

означают эти скопления войск, это движение повозок и грузовиков, которые стучатся в двери у излучины В.?

А наши — чем занимаются?

Сначала кто-то говорит, что ожидаются подкрепления; потом кто-то шепчет, что будет своевременный отход по всей линии; и, наконец, всплывает правда: теперь нам остается только одно — ждать неприятельского удара, стоя на месте.

Поэтому нам радостно оттого, что все мы, итальянцы, сосредоточены в одном секторе. У нас есть потребность быть вместе — как в большой семье. Никогда, как в эти дни, мы не чувствовали, что находимся на чужой земле; но, опираясь на наши лучшие традиции боевитости и духовной силы, от Кариновской до высот Россоши, где начинаются венгерские позиции, мы создали кусочек Италии, где развевается наш флаг, говорят на нашем языке, произносят наши молитвы.

Нам хотелось бы многое обсудить, у нас накопилось немало наблюдений, нам, может быть, даже есть кому предъявить... обвинения; но сейчас не время для споров: здесь надо или победить, или умереть.

И у нас в части взаимные близость и привязанность с каждым днем становятся крепче. Люди поняли, что военный быт побеждает отчужденность. Слишком долгие вечера способствуют до-

верительным разговорам, а надвигающиеся опасности сглаживают случайные несходства характеров и качеств и помогают нам обрести духовное братство, которому, может быть, по плечу померяться силами и с самой смертью.

Лейтенант Г. первым поднимается утром, и он же идет будить солдат. Он проходит мимо меня, когда я начинаю подготовку к мессе, и говорит: "Сегодня пойдем за дровами, и когда ребята устанут, когда руки у них одеревенеют от стужи, я сам возьмусь за топор".

Капитан М. сейчас схлестнулся с Р. Первый утверждает, что наша часть — особая: пусть Р. попробует доверить нам ответственные посты, и он увидит, что все люди, от первого до последнего, откликнутся с энтузиазмом.

Лейтенант Б., просто чтобы не выйти из формы, продолжает исполнять свою миссию... *уф*
... курьера.

— О почте, ребята, не беспокойтесь: я вам ее с конца света притащу. Договорились?

Все делают что-нибудь необычное: мы будто накануне какого-то большого события. Какого?

Не будем допытываться!

Лейтенанты Б. и Д., чтобы отвлечься, до поздней ночи беседуют о социально-политических формах послевоенного мироустройства. Время от времени, когда с их тезисами никак нельзя прицириться, вмешиваюсь и я.

Д. отстаивает теоретические принципы социализма: равенство, уничтожение классов, разделение имущества.

Я отвечаю на это, что Церковь также решительно выступает за большую социальную справедливость и что она предлагала также конкретные планы ее осуществления (кстати, знакомы ли они с трудами Льва XIII?); но идеал абсолютного равенства для столь несовершенного и столь гигантского сообщества, как человечество, очевидно утопичен.

— Слушай, Д., предположим, что сегодня, путем всеобщего договора, мы приходим к равному распределению имущества среди всех людей во всем мире. Пройдет десять лет, и мы увидим, что, из-за естественного несходства характеров, бережливые и трудяги наживут состояния, а не радивые и моты растратят всё.

И тогда мы окажемся перед такой альтернативой: или согласиться с тем, что существуют классовые различия, или (что было бы хуже) снова отнять у бережливых и трудяг их имущество, чтобы отдать его бездельникам и тем самым попрать элементарнейшие права человека.

Церковь считает всех людей *абстрактно* равными, но *конкретно* в высшей степени разными по характерам, способностям и природным дарованиям; она поддерживает и отстаивает такую форму справедливости, которая не предполагает

ет материального и насильственного выравнивания классов, но проистекает из внутренней силы духа. При этом она выдвигает в качестве предпосылки любого устройства общества Христову заповедь о любви: *Quod superest, date pauperibus*³.

Теперь мои друзья знают, что я вижу всё в свете своих принципов, которыми очень дорожу.

Даже за обедом, во время застольных разговоров и споров, невольно, своим поведением, одобрением или неодобрением, я представляю...
официальное мнение Церкви.

Это Б. так говорит: даже когда я не считаю уместным — из благоразумия или по деликатности — вмешиваться в оживленные беседы, он всегда выуживает из меня мое суждение.

В результате одни заговаривают со мной с робостью, другие с осторожностью, и абсолютно все — с сердечностью. Но, думаю, лучше всего можно убедить человека в благодати христианства и привлечь его к христианской жизни живой практикой любви и понимания. Подчас я бывал слишком решителен в изложении своих принципов или в ответах на обвинения против христианства. Многомесячный опыт серьезно изменил мой метод: вместо того чтобы представлять христианскую жизнь как *сверхъестество, озаряющее естество*, теперь я говорю о ней как о *естестве, истолковываемом и возвышаемом сверхъестеством.* Пропозиция по-

³ То, в чем и обитаете, отдавайте бедным (Лук.).

лучается более логичной; несомненно, она приносит больше добра.

До сих пор между мной и собеседником существовала известная *атония*, потому что я твердо помнил о своем священном сане и соответственно поступал, — исходя из внутренней логики, которая должна быть присуща всем действиям капеллана. Кому-нибудь, возможно, хотелось, чтобы я хотя бы иногда отходил от этой логики, — например невинно и добродушно, поддержал разговор на... скабрзные темы. Теперь я пытаюсь растолковать: если я не могу позволить своим мыслям излишнюю снисходительность, то щедрого, великодушного понимания у меня хватает; и поэтому мы всегда в контакте — даже тогда, когда мыслим по-разному, ибо главное — это любовь и милость.

“Благодарю Тебя, Господи, за то, что посреди этой нарастающей бури Ты даешь всем нам благодать единства.

Я продолжаю постигать свое призвание, преобразовать свой путь из этой бездонной долины, где свирепствует зло, к новым высям, где торжествует истина Евангелия.

Но теперь я радостнее, чем прежде, потому что мой брат снова стал ближе ко мне и увидел человека, *такого же, как он сам*, ищущего Бога и истину, *как и он*, захлебывающегося во зле, *как и он*.

Но сколь же печальна эта погруженность во зло!
Если Ты не придешь спасти меня, Боже, я тоже

стану думать, как те, кто обвиняет Тебя, как те, кто осуждает Твою Церковь и Твоих служителей. Пытаясь — из любви к Тебе — увидеть мир их глазами, я чуть было не перестал понимать, что такое *Твоя любовь*; и это трагично, потому что именно сейчас надвигается ураган...

Боже, Ты видишь, здесь никто не молится, никто не поклоняется Тебе, никто не проповедует Тебя. — так дай же мне силы создать для Тебя Церковь, и в этой Церкви соверши вновь спасительное чудо..."

Я сух.

Во мне ничего больше не говорит.

Картины зверской жестокости сильно потрясли меня — как дерево в грозу. Мой разум молчит, мое призвание молчит, полученные в прошлом знания безмолвствуют — перед лицом этих танков, этих разрушенных храмов, этой сырой и лютой зимы.

Но я повторяю, настойчиво, с силой, так, словно это надо высечь на каменной плите, что *верю в Бога*:

"Верю в творение, в искупление, в освящение, то есть в Отца, в Сына и в Святого Духа.

Верю в совершаемую мною мессу, в возносимую мною гостию, в освящаемую мною чашу, пусть даже глаза мои так слепы и руки так мозолисты.

Верю в отпущение грехов, которое даю, в соборование, которое преподаю, в приобщения,

которые совершаю. И верю во все это, ибо Ты это открыл и открываешь мне доныне и здесь, посреди грохота войны, показывая мне, что мифы разрушаются, что цивилизации гибнут, что люди умирают и что *колеса не вращаются*.

Верю во все то, что исповедовал в день своего рукоположения и что доныне исповедуют мои друзья в семинарии или в монастыре.

Но прошу Тебя вновь возжечь — ибо это Тебе угодно — пламя благочестия в моем сердце, с тем чтобы, когда моя воля устремляется к Тебе в акте веры, сердце и ум *видели* — с Твоей помощью, — *что они должны верить*”.

В ПРЕДДВЕРИИ БУРИ

Мы смотрим вопросительно на этот *Дом Советов*: нам хотелось бы выведать у каждой комнаты, у каждого коридора их секрет, услышать признание.

Но всё немо. Солдаты с большим трудом вскрыли сейф в конторском помещении и увидели, что он набит гранатами.

Так это и есть секреты?

Работа кипит вовсю.

Развертывание госпиталя — всегда очень трудная задача; но когда требования столь серьезны, и обстоятельства подгоняют, оно становится делом

небывало тяжким. Нужно подготовить многие сотни кроватей, операционные и места общего пользования. В этом нет ничего необычного. Но для добавок нужно раздобыть тысячи центнеров дров и столько же угля, организовать оборудование для прачечной и позаботиться о больших продуктовых запасах на зиму. Мы запасли более трехсот центнеров картофеля, сотню центнеров лука, двадцать тысяч бутылок минеральной воды, триста ящиков имонов и т.д. И еще надо провести гигиеническую обработку помещений, построить бараки, переоборудовать склады.

Люди понимают, что медицина в зоне военных действий стала одной из главных предпосылок успешного ведения войны. В то время как *дома здравоохранение* казалось плеоназмом, здесь оно вышло на первый план. Все смотрят на нас как на представителей и хранителей последней надежды в самые скорбные дни.

Мы же подмечаем, что в целом, в ситуации, когда со всех сторон на нас сыпятся приказы и распоряжения, не всегда нам предоставляется возможность пунктуально исполнять свои обязанности. Критические замечания высказывает, очень нервно, капитан М.

Как бы там ни было, через несколько дней госпиталь сможет работать. На верхнем этаже отделение общей терапии и обмороженных уже полностью готово.

Есть комната для капеллана и для дежурного врача, которые должны почевать в госпитале. Все остальные помещения заставлены раскладушками и койками, ожидающими своего часа. В конце коридора находится маленькая комнатка. Еще несколько дней назад я присмотрел ее для часовни.

— Господин капитан, прошу Вас об одолжении. Госпиталь не может называться благоустроенным, пока в нем нет часовни. Эта комната почти ни на что не годна. Заботы по ее приведению в порядок я возьму на себя.

Итак, у нас будет и капелла. Мне не терпелось получить возможность устроить настоящую церковь. Она маленькая, но, если открыть двери, она превращается в пресбитерий всего фасадного коридора, а значит, и всего госпиталя.

Так что лучшего решения было не найти. Солдаты довольны.

Уже давно они хотели видеть алтарь, образ, зажженную свечу, освященные стены: до сих пор всё происходило под открытым небом, на ветру и на солнце.

Потом есть еще один вопрос.

Хранение Пресвятых Таин теперь — вещь совершенно необходимая. Я не могу больше носить их с собой в куртке или с робостью держать в походном алтарике. Ведь многие чувствуют потребность иной раз пойти преклонить колени и сосредоточиться в благочестивой обстановке, чтобы воз-

жечь огонь неры, который, по многим причинам, до последнего времени оставался слабым.

У нас будет церковь.

Мы задумали воспроизвести в заалтарной части *готический триптих*, потому что эти линии средневековых сводов могут перенести нас в чарующий мир итальянских церквей. И вот, каждую ночь, вместе с несколькими людьми, находящимися под началом старшего плотника, под шум дождя или завывание вьюги, вооружившись пилами, сверлами и стамесками, мы режем из твердого русского бука силуэты пилонов, балок, крестов и шпицев.

Мне по душе этот каторжный ночной труд.

Днем мы не можем им заниматься, потому что я обещал ни на миг не задерживать другие работы. Но вечером никто не может запретить нам, вместо отдыха, предаваться этому пылкому творческому бодрствованию. У меня возникает чувство, что таким образом я возгреваю свое омертвевшее благочестие. Мне представляется, что я вырезаю из дерева или вычерчиваю линиями арок грешущую фигуру живого Христа, Который явится реально среди нас, чтобы разделить с нами наши страдания.

Центральный триптих, куда будет помещена дарохранительница, изображает человека, плачущего на груди у Иисуса, Который, разделяя человеческую муку, превращает скорбь в искупле-

ше. Справа — Пресвятая Дева в экстагическом созерцании, стоит, как у Креста. Слева, в таком же состоянии и позе — Магдалина.

Эскиз выполнил пожилой солдат из строительного батальона: у него за плечами — долгий опыт работы художником, причем он специализируется именно по религиозной живописи.

Пока пет подсвечников; облицовка стен еще в проекте; ступеньки алтаря будут выполнены сегодня вечером; на деревянный балдахин, который мы прикрепим к потолку над алтарем, еще не нанесена надпись; дверь дарохранительницы, украшенная стилизованной чашей из чеканенного алюминия, будет готова к концу недели.

— Когда же открытие?

Никто точно не знает, но, конечно, это будет большой праздник для нашей части. Мне известно, что наш алтарь будет единственным стационарным на всем протяжении ближайших тылов русского фронта.

В иные вечера моим художникам приходится работать без меня, потому что я *принимаю гостей*.

Позавчера, например, уже довольно поздно, появился немецкий майор в сопровождении итальянского лейтенанта. Все другие офицеры уже ушли, так что волей-неволей пришлось

мне исполнять роль гостеприимного хозяина. Я не жалею о долгих потерянных часах, но огорчился из-за того, что вновь, теперь уже вблизи, увидел, какая пропасть нас разделяет. В определенный момент я вспылил.

При радостной поддержке итальянского офицера немецкой майор медицинской службы насмехался над итальянцами, которые, под воздействием своей безрассудной чувствительности, дошли до того, что обращаются с пленными как со своими товарищами, позволяя им даже — и это уж просто ни в какие ворота! — участвовать в еженедельных вечерах отдыха, устраивающихся в разных частях.

— И из-за этого, значит, вы обвиняете нас в чрезмерной сентиментальности?

— Естественно; ведь сентиментами не воюешь.

— Это правда. Но, во-первых, человек рожден не для того, чтобы воевать; а потом, если альтернатива — быть чрезмерно чувствительным или вовсе бесчувственным, я решительно выбираю первый путь, потому что он в любом случае ближе к человеческому идеалу.

Впрочем, чаще меня навещают проезжие капелланы.

Надо сказать, что наша часть, благодаря сердечному и благородному гостеприимству начальника госпиталя и приятной, умной учтивости офицеров, стала своего рода официальным пе-

ревалочным пунктом для всех капелланов, направляющихся на передовую и возвращающихся с нее.

В последние недели идет смена кадров, и сюда заезжает немало капелланов. Многие — только что из Италии; и посреди этого промозглого ноября, полного кошмаров и неизвестности, как же они должны ценить сердечную атмосферу уютной комнаты, где можно сделать короткий привал и в первый раз поговорить по душам!

Об этом аспекте деятельности нашей части уже известно всем: приезжая в Кантемировку и чувствуя себя потерянными в чужом мире, все знают, что здесь есть госпиталь, готовый приютить их, где они найдут ужин, кровать и братское слово друга.

Даже капеллан Армии направил начальнику госпиталя слова благодарности за милосердную любовь, с которой он принимает его капелланов.

Честно говоря, не знаю, кто из нас, я, или они, извлекают большую пользу из этих встреч.

Может быть, всё-таки я, выступающий в роли благодетеля, оказываюсь облагодетельствованным.

Я испытываю такую радость, общаясь с этими молодыми коллегами, исполненными отваги.

Если они приезжают из Италии, у них в глазах еще стоят дивные виды нашей дорогой земли, чарующая свежесть монастырской жизни или

священнического служения, от которого их оторвало горячее желание теснее приобщиться тяжкому томлению времени.

Те из них, кто уже понюхали пороха в России, стали держаться по-новому: с уверенностью и трезвой безмятежностью; для них больше не может быть ничего нового или опасного. У некоторых — морщины на лбу; другие выглядят, как старые работяги: их лица несут отпечаток многих трудов, о которых, вполне возможно, они никому никогда не рассказывали. У каждого в сердце — сила и благородство чувств, наделяющие их способностью выдерживать и самые суровые испытания. Думаю, что наиболее драматичным образом война отозвалась у них именно в душе.

Радости и скорби, подавленность и подъем, отзвуки побед и поражений теснятся в их исповедальных рассказах, обдавая жаром непосредственности и правды. Радости у них — самые чистые: неожиданные возвращения к вере, тайные, но искренние обращения, долго ожидавшиеся и наконец принесенные исповеди, драматичное восстановление отношений...

Но есть у них и тяжкие скорби, которые никому неведомы, которых друзья и вообразить не в состоянии...

Вот сейчас, например, один сидит передо мной и плачет.

Будущее для него не имеет значения; возвращение домой его не заботит.

Главное для него — получить возможность продолжать свое дело здесь.

В части, где он служит, ему пока не удалось пробиться к сердцам окружающих: вина — на нём?

Мои плотники стучатся в дверь: идут спать. Они доделали дверцу дарохранильницы, которая изнутри уже была оббита красной флажной тканью.

— Ну что, будем и мы ложиться?

— Вот ваша комната, располагайтесь. Там, напротив — русская церковь; а вон там, подальше... видели сейчас?

— Что это за красный огонек?

— Это партизаны: такие у них сигналы!

НОЯБРЬСКОЕ ОЖИДАНИЕ

11 ноября

На сегодняшнее утро русские, по поступившим данным, наметили наступление. Но своевременное огневое воздействие нашей артиллерии расстроило неприятельские планы. Солдаты кричали: «Да здравствует артиллерия!»

Русский аэроплан разбрасывал пропагандистские листовки, несколько попало к нам. Одна

из них представляет собой что-то вроде *паспорта*: мол, кто предъявит его, сдаваясь русским, того не тронут. Другая — интересное обращение к генералу Г.: «Генерал Г.! Зачем вы обманываете своих солдат? В такой-то день, перед таким-то пехотным полком вы заявили, что русские избивают и истязают пленных. Так вот знайте, что со всеми итальянскими пленными обращаются гуманно, так, как это принято у цивилизованных народов. Генерал Г., вместо того чтобы обманывать своих солдат, вы бы лучше позаботились об их здоровье... и т.д., и т.п.».

Утром, вместе с лейтенантом Б., я отправился на поиски итальянского аэродрома, чтобы вылететь в Ворошиловград, где меня ожидал Д.Б. Самолет должен был подняться в воздух в девять, но мы до полудня прокрутились по разным дорогам, так и не найдя нужного нам поля. Израсходовали полный бак бензина и еле дотянули до города. Другие офицеры встретили нас продолжительным смехом, а Б., слегка обидевшись, заявил, что аэродромы в России... «ужасно чудные, особенно в ноябре месяце!».

12 ноября

Мы вновь работаем в обычном режиме: подготовлено 400 коек. Поступили первые пациенты — пехотинцы, с обморожениями первой и второй степени.

Прошедшей ночью дул сильный ледяной ветер, и русский четырехмоторный самолет упал в окрестностях города. Два летчика погибли мгновенно, троих взяли в плен; еще двоих, раненных, подобрала италяныцы и доставили в наш госпиталь. Они было собрались покончить с собой, потому что приняли нас за немцев, но, узнав, что мы — италяныцы, а главное, увидев, как мы с ними обращаемся, передумали и даже растрогались. Майор, тараща глаза от удивления, только приговаривает: "*Spasibo, spasibo*".

Мороз стоит ужасающий: ночью, за несколько часов, температура опустилась до двадцати семи градусов. Одеты мы, как эскимосы; на нас меховые шапки и шубы: видя друг друга, мы смеемся, потому что все неуклюжие, как пингвины, но тут уж не до элегантности...

Первая снежная корка намертво срослась с травой и с землей. Горизонт — ослепительно белый. Любая прогулка превращается в конькобежные упражнения. Тепло изб манит все сильнее.

Большие перемещения войск. Это старослужащие италяныцкого экспедиционного корпуса в России. Они уже ничего не видят вокруг себя, обзумели от радости, только галдят бесшабашно; и всё это повергает в такую печаль тех, кому приходится оставаться. Убывающие рассказывают, что вчера вечером они получили прощальный привет от русских.

«Пехотинцы армии П.! Нам известно, что завтра утром вы покинете свои позиции, чтобы отправиться на родину. Вы это заслужили, потому что долгих двенадцать месяцев вы выполняли свой долг, следуя ему и во время невиданных кровопролитий. Теперь вы можете с чистой совестью вернуться домой, к своим жёнам, которые вас ждут. Только вот жаль нам тех несчастных, которым придется вас заменить, потому что из них ни один не вернется».

Здесь в Кантемировке я нашел некий набросок кладбища, и в таком виде оно меня не устраивает. Мне дали поручение привести его в надлежащий вид, но я даже не знаю, с какого конца начать.

Мне бы хотелось вывести его с территории города, но теперь уже поздно. Эту землю невозможно обработать; к тому же слишком много захороненных тел. И я докладываю, что работы можно будет провести только с наступлением весны.

С наступлением весны!..

Но наше положение здесь, в излучине Дона, становится все более критическим. Мы ничего не знаем, ничего не видим; но чувствуем, что дела плохи... Если кто-то начинает рассказывать нам о положении на фронте, мы мрачнеем. Но нет времени предаваться унынию: работы становится все больше.

13 ноября

Чудесный рассвет: возрождается солнышко, и вместе с ним, кажется, возрождаются надежды. Я сделал замечательный снимок перед русской церковью. Над лестницей, прислоненной к обрушенному portalу церкви, висит колокол. У стены стоит старик-ризничий с окладистой бородой. Он раскачивает язык колокола, созывает верующих. Я гляжу на эту картину против света: старик смотрится размытым силуэтом (только борода освещена); колокол обозначен светлыми боковыми контурами; на фоне встающего красного солнца вырисовываются дула нескольких трофейных русских пушек.

Этот колокол звонит на рассвете *нового дня?*

Я отслужил святую мессу очень рано сегодня утром; затем, отказавшись от молитвенных размышлений в своей комнате, пошел на православную литургию.

Церковь — внушительное здание, увенчанное безупречным византийским крестом. Большой восточный купол, который, очевидно, когда-то был облицован металлом, сейчас обнажен; две колокольни стоят без колоколов и похожи на старые окровавленные пустые глазницы.

Внутреннее убранство поражает богатством. Колонны и украшения сделаны из мрамора, скорее всего итальянского; и в росписях, иллюстрирующих главные таинства веры, чувству-

ется западное влияние. Богослужение торжественное. Сначала я слежу за его ходом, но потом, отвлеченный чрезмерной роскошью интерьеров, ухожу в размышления о трагических судьбах русской Церкви.

Присутствующие внешне держатся очень благочестиво; но я не могу понять, отзывается ли все еще грандиозность этих обрядов в их сердцах. Не понимаю, живет ли еще в их душах благодать, есть ли у них внутренняя жизнь. В какой-то момент я все же склоняюсь к отрицательному ответу. И эта догадка повергает меня в смятение, побуждающее покинуть храм, пойти помолиться в моей комнате или в моей церковке или прокричать Богу: "Господи, не дай угаснуть курящемуся фитилю!"

Впрочем, сегодня я стал свидетелем утешительной сцены. Одна женщина, выйдя из храма, сразу же подошла к лазарету с русскими пленными и дала всем картошки; затем, надвинув платок на глаза, попрощалась с ними достойно и веско и исчезла в конце замороженной улицы. Не впервые помогает она так пленным.

Спрашиваю себя: может быть, искорка милосердия пробежала по этой голой степи? Решаю, что так оно и есть, и внезапно чувствую, как внутренне примиряюсь с русской Церковью и со всеми ее священниками.

По-прежнему плохие новости со Сталинградского фронта. Теперь уже совсем непонятно, что

происходит в этом адском котле. Немецкие военные сводки заверяют, что там продолжают яростные обстрелы и бомбардировки, дающие перевес нам; а вот русские гражданские говорят о прорывах русских и об окружении, в которое попали немцы.

А что на румынском фронте в Кариновской?

14 ноября

Судя по всему, на румынском фронте в Кариновской произошла катастрофа. Минувшей ночью, в результате мощного наступления русских, румынские дивизии были отброшены на несколько десятков километров и понесли тяжелейшие потери. Немецкие части и итальянские берсальеры, вступив в бой, залатали разрыв в линии, и теперь в мешке вокруг Кариновской немецкие самолеты, из-за создавшейся невероятной неразберихи, бьют не переставая по своим рубежам.

По слухам, румыны попали в страшную мясорубку, число погибших огромно; в то же время русских остановили, прежде чем они дошли до Миллерово, которое было главной целью прорыва.

Что же теперь будет с моим кладбищем в Кашарах?

У города печальный вид: гражданские озабочены и взвинчены; итальянцы обеспокоены; только немцы как будто спокойны и довольны.

Неужели слухи о Сталинграде проходят мимо них? А несчастье с румынами их не интересует?

Говорят, беспокойно на подступах к Воронежу; это что, тоже ничего не значит?

Мы, итальянцы, не в состоянии понять некую невозмутимость: допустим, это ценное качество для воина; но, в таком запредельном виде, не оборачивается ли оно беспечностью и безрасчетливостью?

Для Лёни мы приготовили полное снаряжение, и теперь он живет общей жизнью с нашими солдатами. Вечером, когда мы идем на мессу, он сидит в моей комнате и работает над дневником, где описывает свою прошлую жизнь.

Сегодня утром он помогал мне служить раннюю мессу; он уже хорошо знает «Радуйся, Мария», «Отче наш» и «Верую». Теперь вот по русскому катехизису знакомится с главными таинствами и истинными веры, потому что хочет креститься.

Прибыли новые больные и несколько раненых.

— Скажите, там, на передовой, происходит что-нибудь?

Нет, внешне все спокойно. Только патрули ходят, как обычно, туда-сюда, на той и на другой стороне. Часовой остается у опорного пункта, а сержант с несколькими солдатами перебираются через проволочные заграждения, пересекают минные поля и идут вдоль реки. Иногда они переходят на другой берег и, оказавшись посреди русских позиций, пробуют внезапно на них напасть;

иногда эти вылазки удаются, в других случаях заканчиваются очень печально.

Особенно драматичны столкновения между патрулями. Из-за того что вокруг снег, и все тщательно маскируется в белое, они замечают друг друга, только когда между ними остается совсем небольшое расстояние. И тогда верх берут более отважные. Перестрелки на реке будят все опорные пункты: люди бегут на огневые позиции, с обеих сторон начинается бешеная пальба, но затем всё вновь погружается в безмолвие. Остаются одни часовые, в изнурительном нервном напряжении стерегущие оружие; разве разглядишь что-нибудь на этом снегу? Время от времени гигантские прожекторы разрубают воздух, роятся в лесах, задерживаются в балках, останавливаются на бункерах; не дай Бог тогда шевельнуться...

А тем временем на другом берегу реки каждую ночь происходит какое-то непрерывное шевеление: тархтят машины, переговариваются мужчины и женщины, звенят кирки. Говорят даже, что они роют подземный ход под рекой...

Раненые и больные, появившиеся у нас в предыдущие дни, расспрашивают вновь прибывших о новостях:

— В Г. еще копают тыловые траншеи? В Ф. еще стоят немецкие танки? Пришли новые орудия в сектор третьего батальона Х.?

И весь день проходит в вопросах, в воспоминаниях о пережитых эпизодах, в догадках, в затейливых и не очень правдоподобных описаниях грядущих побед. И при этом у всех в голосе — нотка горечи.

Кто его знает, что будет!

Потом вечером входит порученец и просит всех произнести розарий. Поскольку занятых комнат слишком много, мне пришлось искать охотников, которые бы каждый вечер, в определенный час, отправлялись по разным отделениям руководить чтением розария. И наши пациенты с радостью повторяют слова молитв, понимая, что это — единственное основание для надежды.

15 ноября

Сегодня утром, вместе с лейтенантом медицинской службы Б., я отправился к нескольким больным из гражданских: обещал, что не забуду о них. Они явно тронуты нашей заботливостью.

Один человек, который работает с нами на заготовке дров, сегодня удивил меня своей недоверчивостью: когда я предложил ему сигареты, он, без особых церемоний, дал понять, что боится отравы. Я ужасно расстроился; откуда это полное отсутствие доверия? Пришлось мне самому закурить, чтобы убедить его принять мой подарок.

Пришло очередное письмо от Д. Бонадео.

Оно — четвертое со времени его приезда в Россию. Поскольку первая попытка встретиться и вместе повспоминать наше общее прошлое пошла прахом, нам остается только сплотиться духовно перед лицом нынешней суровой реальности.

Он все еще в Ворошиловграде, но надеется, что вскоре его переведут *туда, где легче дышится*: в ряды бойцов. Только тогда у него на душе будет спокойно.

Заезжали еще два капеллана.

Оба совсем молодые и необстрелянные: меня удивляет, что их послали сразу сюда. Настроение у них было очень неважное: тут сказались и слухи, услышанные при проезде через тылы, и усталость после дороги. Я постарался их утешить, не вводя при этом в заблуждение: "Мы в руках Божьих. Не прекрасно ли чувствовать, что мы пребываем... на крыльях Его воли? Жизнь, в сущности, штука довольно пустяковая; главное — делать то, что Ему угодно. Здесь можно творить неисчерпаемое добро: каждый день — новый дар, который Бог дает нам, и наше новое приношение Ему..."

Их прекрасные намерения стали для меня добрым примером.

Теперь они уехали. Что найдут они в своих подразделениях? Может быть, алтарь, приготовленный для их заклания?

16 ноября

Капеллан автоподразделения сегодня вечером, в 18 часов, послал за мной с просьбой исповедовать больного капитана.

Но разве ему неизвестно, что шесть пополудни — это уже ночь?

Их часть стоит в четырех километрах от города, по другую сторону моста, где каждый вечер напоминают о себе партизаны. Некоторые отговаривали меня идти.

По пути сопровождавший меня солдат, вооруженный в полном соответствии с уставом, выказывал досаду в связи с этой ночной экспедицией. В какой-то момент, сразу после моста, две тени отделились от изгороди и бросились в канаву. Мой товарищ инстинктивно вскинул винтовку; я, после секундного замешательства, взял себя в руки и попросил его сохранять спокойствие, опустить оружие и предоставить остальное мне. Затем, решительным шагом, я направился к двум незнакомцам и заставил себя поздороваться с ними, как ни в чём ни бывало, хотя перевернутая душа боялась подвоха.

— *Drasvetel* (Добрый вечер).

— *Drasvetel* (Добрый вечер).

— *Što deliote siuda?* (Что вы здесь делаете?)

И, не давая им ответить, продолжаю: "Я — капеллан: священник. Иду исповедовать больного. Как пройти к складам?"

— *Eta ulitsa!* (По этой улице!)

— *Spasibo, drasuvete.* (Спасибо, доброго вам вечера).

И мы продолжили свой путь, все еще дрожа, но на душе стало поспокойней. Обернувшись, мы увидели, как они исчезли за плетнем.

На обратном пути нам больше никто не встретился. Отец Н., наверно, меня уже и не ждал.

— Почему мне не надо было приходить?

— Прости меня! Знаешь, я не подумал о партизанах!

Сегодня вечером мне радостно. Господь дает нам творить добро среди этих людей, измученных войной.

Многие приходят исповедоваться по одному, по два; многие другие обещали мне, что исповедуются к празднику Непорочного Зачатия.

— Ладно, к Непорочному зачатию; в этот день мы как раз откроем нашу капеллу.

Перед сном пишу письмо Д.С.

"... Мои предположения восьмимесячной давности — те, что я строил в Б., — здесь подтверждаются каждый день. Правда, прежде будущее виделось мне исключительно мрачным и тревожным и, хотя я был твердо намерен выдержать всё, меня не оставляли внутренние сомнения. Теперь это будущее стало настоящим; оно, конечно, не лучше того, каким я себе его представлял, но, несомненно,

светлее. Реальная жизнь в этих ледяных степях — та, что есть, и другой не будет, но мы чувствуем над собой руку Промысла. Не знаю, что случится в ближайшие дни, не знаю даже, вернемся ли мы домой, но будьте мне свидетелем, что я принимаю всё из рук Божьих — ради блага душ”.

17 ноября

Пленный русский майор, который у нас лежит, — интересный субъект. Пообвыкшись, он стал со всеми общаться весьма по-свойски. Особенно фамльярничит с начальником госпиталя и со мной, потому что мы носим ему сигареты и иллюстрированные журналы. Сейчас он, например, требует, чтобы я зашел его проведать, а вечером хотел бы сыграть со мной партию в домино.

— Когда я выздоровею, кому вы меня отдадите?

Я понимаю причину его беспокойства.

— Вообще-то мы обязаны передать вас немцам.

Но мы продержим вас в нашей части как можно дольше, хорошо?

Он простодушно гладит мне руки и говорит: “Я полагаюсь на вас!”

Сегодня приходили их допрашивать. Лейтенант не говорит ни слова. Майор сначала заявил, что нельзя допрашивать в присутствии подчиненного, затем, уже без свидетеля, он искренне отвечает: “То, что в России говорят о вас, вам уже известно; то, что думаю о вас я, вам не интересно. Значит...”

Убедившись в том, что наши люди ведут себя намного благороднее, чем ему представлялось, сейчас он искренне проявляет свое восхищение нами. А мы, со своей стороны, рады, что он у нас лечится, потому что, как говорят некоторые, *кто знает, как все повернется...*

Атмосфера становится все более тяжелой. Сегодня в населенном пункте К. произошел инцидент.

Полковник В. опять посасывает свою трубку, как и полагается настоящему альпийскому стрелку, но не дай Бог сейчас кому-нибудь войти к нему с рассиросами. Он глядит разъяренным львом и, кажется, все еще говорит тем двум немецким офицерам: "Что?! Вы так до сих пор и не усвоили, какие мы?"

18 ноября

Ранним утром здесь, в городе, русский самолет спикировал на противозенитные батареи. Ни ущерба, ни жертв.

Женщина, которая несколько дней делала вид, что сотрудничает с немцами в контрразведывательных акциях, минувшей ночью исчезла.

Из Италии прибывают свежие войска: они призваны заменить отслуживших, но ходят слухи, что в Россию будут переброшены дополнительные новые дивизии, а может быть, и целая армия.

В столовой, обсуждая эти известия, все мы сходимся в том, что лучше бы этого не произошло. Что они там, поклялись погубить нашу страну?

Один потребовал медосмотра, надеясь комиссоваться. Другой — тоже. Третий собирается это сделать. И те двое, что попали к нам вчера вечером, последуют за ним. Мы подчеркиваем, сколь непорядочно в такие моменты уклоняться от опасности. Никогда, как сейчас, я не чувствовал, сколь важны воинская честь.

И никогда, как сейчас, я не восхищался несокрушимой сплоченностью нашего подразделения, в котором не один и не два человека вполне могли бы ходатайствовать об отпусках или об увольнении в запас.

Работы всё больше и больше.

Весь день уходит на тысячу разных дел, от ассистирования на хирургических операциях и посещения больных (совершаемого регулярно, как минимум два раза в день) до забот о прохудившейся крыше, до рытья могил на кладбищах, до организации службы уборки госпиталя, до надзора за санитарями, до плотницких работ поздней ночью. А еще я уединяюсь в комнате — для ответа на самые срочные из поступивших писем и для составления различных документов, направляемых в командные органы или в духовную инспекцию.

И офицеры, внутри госпиталя и за его пределами, не знают передышки целыми днями.

Аптека напоминает кузницу, склад — рынок, в кладовой — непрерывное движение, кух-

ия задействована постоянно, днем и ночью. Повсюду рядом с солдатами — офицер: при разгрузке грузовиков, при закупке продовольствия, при заготовке угля, при оприходовании поставок.

И потом, оказываясь у постели раненого или больного, мои друзья творят чудеса.

Думаю, нужно разоблачить известные предубеждения о медицинском персонале, распространенные в военных кругах. В действующем госпитале жизнь врача, жизнь хирурга — нечто неопишечное, если все делается добросовестно и честно.

Если завтра утром будет перераспределение больных по палатам, им придется работать пару лишних часов, чтобы подготовить медицинские карты.

Ближайшей ночью, конечно, не обойдутся без какого-нибудь срочного вызова: прибытие новых раненых или ухудшение состояния кого-то из наших "старых" пациентов. Консультация, осмотр, срочная операция, и, значит, часок-другой без сна. Потом, на рассвете, побудка: санитарные автомобили должны выехать рано, потому что путь им предстоит долгий. Врачи обязаны присутствовать при загрузке раненых: наблюдать, контролировать, помогать, поправлять. В общем, два часа на нервах. И наконец санитарные машины отправляются.

Удастся мне выкроить минутку для завтрака?
Может, да.

Но уже настало время осмотров; и нужно перемещать оставшихся в заранее намеченные палаты, чтобы дать место сотне новых больных и раненых, которых должны привезти к полудню.

В 11 появляются автомобили с печальным грузом: работа на несколько часов; опять срочные операции или другая помощь. Нужно все-таки сходить перекусить; и идут, сменяясь, по одному. Потому что дело не должно застревать ни на секунду, и раненые не должны испытывать недостатка ни в чем.

Потом — пронаблюдать за раздачей пайков и позаботиться о мойке полов в отделении обмороженных, затем — осмотры в отделении общей медицины, затем... затем... затем...

Наконец, когда удастся, все мы встречаемся за ужином. И радостно наслаждаемся этим братским общением душ, где всем, как в семье, интересны дела каждого.

Ну вот, уже полночь. Раненый зовет: санитар уже здесь, он будит врача, чтобы узнать, должен ли он вколоть ему морфий.

— Нет, я схожу сам посмотрю: в его состоянии морфий ему только повредит.

Лейтенант Ч. вчера ночью, делая срочную операцию тяжелораненому бойцу, своему земляку, дрожал так, будто в руки к нему попал родной

брат. А потом — переживал и мучался, потому что надежд, к сожалению, не осталось. Начальник госпиталя, как только позволяют дела, которых у него великое множество, приходит в операционную. На его лице болью отзываются все терзания плоти: и я продолжаю говорить, что он поступил правильно, не став хирургом. Иногда я встречаюсь с ним у коек самых тяжелых: он чувствует особое дружеское расположение к каждому; редкое душевное благородство побуждает его каждому что-нибудь подарить: хотя бы сигарету, даже если хирург против.

Лейтенанты Б. и Д. обсуждают между собой несколько самых тяжелых случаев: Б. говорит, что готов, если надо, бросить аптеку и сменить свои пробы и весы на тележку с перевязочными материалами.

Если его зовут туда, где срочно нужен кислород, он судорожно тащит баллон, сметая по дороге всё.

... Лишь бы успеть!

Дорогие друзья! Когда мы вернемся домой, все будут рассказывать о невзгодах, о том, как ходили в дозор, об удачных атаках, о приключениях на дорогах. Но, возможно, никто не вспомнит про вас, про ваши бессонные ночи, про ваши материнские заботы о развороченной плоти, про ваши мучительные тревоги в операционной или на ночных обходах.

Но матери, в тишине своих домов, спасенных от траура, или дети, в ликовании обнимающие вернувшихся отцов, все же, не сознавая того, будут говорить о вас, ангелы боли, которые вовремя перевязали рану или провели операцию на самых уязвимых частях тела.

Да, вы не можете похвастаться участием в рукопашных схватках с толпами врагов; но вы — герои грандиозных сражений с обстоятельствами, которые намного сильнее вас. Другие борются за пядь земли, а вы — за дыхание жизни.

И вы вступаете в след битвы во имя Бога и человечества, подбирая, как лепестки цветов, крупницы жизни, которые люди, побежденные ненавистью, расточают на степных просторах или в окопах.

19 ноября

Меня поразила одна мысль апостола Павла в послании к Римлянам. Имея в виду то человеческое, что каждый носит в себе, он говорит примерно следующее: "Не я живу, но закон греха, который живет во мне". Какая бездна между этим наблюдением и тем, которое диктует ему радость о действующей в нем благодати: «*Vivo autem iam non ego, vivit vero in me Christus!*»*

Когда же и мне удастся подняться на такую головокружительную высоту?

* "Уже не я живу, но живет во мне Христос" (лат.).

20 ноября

Нынешним утром для меня снова стала большим утешением месса в пашей части. Участвуя в таинстве, происходившем так близко от них, что они почти прикасались руками к одеянию священника, все растрогались; некоторые исповедовались и причастились.

В соседнем госпитале лежит заболевший капеллан. Сегодня я навестил его: кажется мне, что дела его не очень хороши. И как это до сих пор не смогли определить, какая у него болезнь?

Лёня продолжает изучать историю Наполеона. Время от времени я застаю его в своей комнате за неотрывным чтением.

— Не делай этого, Лёня: ты меня огорчаешь.

— *Racítí?*

— Ты умный, сам знаешь почему. Может быть, ты по дому скучаешь?

— Нет; я хочу быть с вами, всегда, и после войны тоже.

— Так почему же ты тогда все время перечитываешь рассказ об этом отступлении?

— ...

Он мне не отвечает.

Среди больных, доставленных с передовой, сегодня я обнаружил П., бывшего алтарника, в прошлом — моего ученика в семинарии.

Увидев меня, он дал волю чувствам.

Что ж, приятно будет с ним пообщаться; а если удастся, задержу его около себя, чтобы он помогал мне в заботах, которые становятся все многочисленнее.

Сегодня вечером я снова встретился с капеланом чернорубашечников из центуриона D.L.

Он приехал из Т. с останками пяти чернорубашечников. При передислокации центуриона, его, по наводке, внезапно атаковал русский бомбардировщик. Пять убитых и около двадцати раненых.

— Мёртвые здесь. Похоронишь их? Мне нужно этой ночью ехать обратно...

Как прекрасны дела милосердия телесного: «... похоронить мертвых!»

21 ноября

Сильные бомбардировки в Талы, сильные бомбардировки в Суровке.

Разрушения и жертвы.

Из горящего склада вынесли немало трупов; карабинер-чернорубашечник пылал как факел, но пока жив.

Ужасные известия из Сталинграда и из Воронежа.

Под Сталинградом, судя по всему, русские перерезали немецкие силы между излучиной Дона и Волгой, с севера на юг. На Воронежском фронте неприятель прорвался к югу в нескольких мес-

тах, на направлении Ворошиловград—Ростов.

Теперь нас покинули последние иллюзии. Призрак поражения, который до сегодняшнего дня дремал в каждом, теперь ожил и преследует нас, как тень Банко — Макбета.

Вслух, обсуждая последние новости, все мы говорим, что шансов еще хоть отбавляй; но внутри у каждого — уверенность, что их почти нет.

22 ноября

Еще бомбардировки; несколько актов саботажа; необычайная активность партизан.

Создается впечатление, что мы уже окружены незримой неприятельской армией.

В одном месте ночью напали на избу; убито четверо немцев.

У Старобельска партизаны атаковали колонну санитарных машин; они зверски расправились с ранеными и водителями; один сержант спасся.

Минувшей ночью взорван мост в В.

Сегодня в ротную канцелярию пришло циркулярное письмо, призывающее военнослужащих из всех тыловых подразделений записываться добровольцами в диверсионные группы для охоты на партизан. Эта новость глубоко поразила наших солдат.

Погода резко ухудшилась: неожиданное сильное похолодание, несомненно, наполнит госпитали обмороженными.

Вчера нам пришлось пропустить ужин: снежные заряды вперемешку с ледяным ливнем помешали добраться до избы, в которой находится наша столовая. Сегодня температура вроде бы замерла на отметке тридцать два градуса ниже нуля.

Мало нам было других забот, так теперь, вот уже несколько дней, нас донимают мыши. Они лежат отовсюду, наводняют комнаты, залезают в дорожные сундуки, в вещмешки, в кровати. Командование выпустило циркуляры с указаниями по охоте на мышей. Теперь вот народ выдумывает самые необычные виды мышеловок.

Население редет: ходят слухи, что в скором времени город подвергнется бомбардировкам. Каждый вечер мы слышим, как над нами кружат вражеские самолеты; до сих пор, однако, бомбардировки затрагивали только городские окраины. Но не стоит ли за этим исчезновением гражданских что-нибудь другое?

Нынешним вечером я нашел тему для молитвенных размышлений в этих словах св. Павла: "*Sive stitemus, sive motimur, Christi sumus*".

... Что это за выстрелы слышатся вдали?

23 ноября

Сегодня почта принесла плохую новость: моего брата ранили в Хорватии. Как? Где? Что

* "Живем ли — для Господа живем, умираем ли — для Господа умираем" (лат.).

именно случилось? Знают ли уже об этом дома? Насколько тяжелое ранение?

У нас в госпитале лежал богатырь-берсальер, успевший героически проявить себя в бою. В день, когда ему полагалось выписываться и отправляться обратно в свою часть, наш начальник решил оставить его при госпитале санитаром.

Он не верил своему счастью — и с душой принялся за работу, готовый всегда, днем и ночью, отозваться на любой вызов.

Сегодня он тоже получил почту, а вечером, вижу, заходит ко мне в комнату, нервный, взвинченный: "Всё, уйду, вот письмо!"

— Что такое, при чем здесь письмо, куда ты собрался?

— Вернусь на передовую: уж лучше погибнуть...

Вижу, что он переживает нешуточную драму. Беру его за руку, вырываю у него письмо, а он — в слезы, плачет как ребенок.

Ему пишет двоюродный брат, который очень сжато и жестко сообщает, что *невеста наставила ему рога, и это настоящая измена.*

— Подожди, остынь; надо еще посмотреть, что там такое. Ну, стоит ли так убиваться?

Но он не слышит доводов рассудка; говорит, что всё уже решено, что ему теперь делать нечего; что бесполезно мне пытаться его переубедить, потому что, если бы он вернулся домой, было бы голько хуже...

24 ноября

Берсальер ушел: он присоединится к своему корпусу, который стоит километрах в двадцати от нас. Кто-то говорит, что у него это пройдет; а вот у меня — грустное предчувствие. Различив в нем крайнее упрямство во время нашего последнего разговора, я испытал к нему неприязнь, но теперь его драма представляется мне достойной сочувствия и размышлений. Если посреди всей этой грязи он сумел сохранить чистым чувство, которое связывало его с далеким сердцем, его отчаяние можно понять. Но какое же ужасающее преступление совершил тот, кто произнес этот страшный смертный приговор!

Солдаты, прибывшие вчера, рассказывают с тревогой о последних перемещениях на фронте. Из их слов можно заключить, что близок день, когда вся военная техника и с той, и с другой стороны будет задействована. Предстоит испытание машины, но еще в большей степени — испытание нервов и сердец.

— Что же говорят на передовой?

— Ничего: ждут.

25, 26, 27, 28 ноября

Ничем не примечательные дни, сгоревшие в работе и в ожидании.

Солдаты нашей части еще теснее сплотились вокруг офицеров. В час розария и вечер-

него благословения они радуют меня до слез своим благочестием.

Работы все больше: мне пришлось даже перестать писать и заниматься. Еле успеваю вести самую важную переписку. Похоже, наступают такие же дни, как в Кашарах.

Нервы, на место!

29 ноября

Истинное мучение — ходить по разным палатам и слышать последние впечатления о делах на фронте. Приходится выслушивать горестные истории; но вместе с тем все лучше узнаешь щедрое сердце нашего солдата, который даже в эти трагические моменты находит в себе силы твердо исполнять свой долг, любой ценой.

Это ожидание — героическое: все знают, сколь серьезным будет испытание, но все клянутся, что русские получат должный отпор. Ведь у нас осталась главная надежда — держаться. Кажется, всё кричит нам: «Но насаран!»

Темп приготовлений становится все стремительней. Мы с нетерпением ждем вестей с передовой

В госпитале и в городе у нас и без того достаточно материала, чтобы занять свой ум, да и всю свою жизнь. Нередко кому-то бывает плохо, а сколько у нас пациентов, нам нужно готовить открытие часовни и т.д. В городе? Многочисленные бомбар-

прорывки, ночные пожары, проход войск и машин, суровость зимы (около 35 градусов ниже нуля!), — всё это заслуживало бы большего внимания.

Но нет, всё меркнет.

Мы трудимся без передышки; но ум, сердце, жизнь — всё устремлено к фронту. И нам чудится, будто мы слышим скрежет оружия и душ и грозное бисение сердец, ожидающих великой минуты.

Русские дозоры становятся все более дерзкими и подходят к самым опорным пунктам, но здесь они всегда находят достойный отпор; наша оборона отвечает невероятно стремительно и яростно.

Наши вылазки на другом берегу реки всё более рискованны. Прошлой ночью несколько пехотинцев захватили двух русских часовых вместе с их пулеметом. Пленные говорят, что в первой декаде декабря будет наступление.

31 ноября

В канцелярии лежит циркулярное письмо, которое выглядит анахронизмом. Генерал Армии предлагает канцеляристам позаботиться об изготовлении рождественских вертепов.

Ностальгия по далеким вертепам и по таинственным появлениям Бефаны*, приносившей подарки добрым детям!

* Странная с виду старуха, которая, согласно древним итальянским поверьям, в ночь перед Богоявлением проникает в дом через дымоход, чтобы принести хорошим детям подарки, а плохим — золу.

— Ну что, будем делать вертеп?

Конечно, есть сильное побуждение сказать "нет", тысячу раз "нет", из-за всей этой войны, которая лезет отовсюду. Но из уважения к доблести наших солдат и им в утешение — мы соорудим этот вертеп. Вертеп, который должен вобрать в себя и выразить мучительные страдания несчастного человечества и торжествующий свет любви Сына Человеческого.

Я знакомлю с замыслом трех своих художников: «Вертеп будем делать так. Я уступлю вам свою комнату, а сам перейду жить в избу. Он будет в двух картинах.

Первая картина: военный эпизод с участием людей; машины, работающие с предельным напряжением, но застигнутые в ту минуту, когда они вот-вот откажут, не в состоянии бороться с силами природы.

Вот тема: *Колеса не крутятся*. Всё затенено.

Вторая картина, на втором плане: свет вертепа. Настоящего вертепа, покоящегося в своей традиционной неподвижности на силах природы, которые прежде (в царстве человеческого) представляли стихийными и необоримыми, а здесь (в царстве Божиим) оказываются послушными мановению Сына Марии. Сверху — надпись: *Dona nobis pacem**.

* Даруй нам мир (лат.).

Поняли мою мысль?»

Они говорят, что поняли и призывают меня больше об этом не беспокоиться: собираются устроить мне сюрприз!

1 декабря

Мы начали новену* перед праздником Непорочного Зачатия. Пение литаний и произнесение молитвы "Радуйся, Мария" приносят туда, где изобилует скорбь, чистую радость светлых вёсен.

Приходят и офицеры, люди старые и очерствевшие, которых я, после наших коротких встреч, считал неспособными к проявлениям нежности и жалости. И вот теперь они здесь, — стоят, прислонившись к двери, и вытирают глаза, мокрые от слез. Лёня в удивлении смотрит вокруг: может быть, впервые в жизни он чувствует красоту и пленительность религиозного обряда и, несомненно, открывает для себя новый мир.

Распоряжения, поступившие от начальства, накладывают на нас обязательство организовать в воскресенье, 8 декабря, в праздник Богоматери, день молитвы о вооруженных силах.

Это сама Италия сплачивается вокруг своих солдат, неразрывно связанная с ними единой

* У католиков — девятидневные молитвы перед большим праздником.

верой, — во имя защиты ее самых заветных ценностей и во имя обретения сю нового пути.

И это общение душ, во время столь тягостного кануна, соединяет нас, словно *напутственное причащение* перед великим испытанием.

9 декабря

Вечер: нет моих сил больше.

Кончилась изнурительная неделя, до предела заполненная заботами и непомерным трудом.

Встречи с разными капелланами... *flere cum flentibus**! Но самые тяжелые драмы — те, что происходят здесь, в самом центре трагедии.

“Господи, ты умеешь понять слёзы Своих служителей, — даже в самые темные часы”.

Лечение раненых, помощь раненым. Новые скорби, новые мучительные впечатления, новые душераздирающие встречи, — особенно перед лицом смерти.

Капеллана, который лежал в 38 палате, вчера выписали, потому что у него подозревают инфекционное заболевание; но он по-прежнему в очень тяжелом состоянии. Инфекционный госпиталь его не принял; почему — не знаю. И тогда я решительно вмешался: “Мы так и оставим его умирать, как бродягу... па носилках, в снегу?”

* Плачь с плачущими (*лат.*).

Наш начальник госпиталя, добрая душа, согласился с моим предложением. И теперь капеллан лежит у нас, окруженный братской заботой.

Сегодня утром мы торжественно открыли часовню. Может быть, это последний праздник, который мы отметили в своем, семейном, кругу: разве мог он не стать самым замечательным? Было много причастников, много жаркой молитвы, растроганности. На минуту мы забыли о раскаленной атмосфере схватки и вновь почувствовали себя добрыми и мирными. Пока мои ребята пели, я вспоминал, как о чем-то родном и далеком, о празднике Непорочного Зачатия в семинарии, о ректоре, о семинаристах, о *Tota pulchra** (при которой у меня всегда на глаза наворачивались слезы), и, на какое-то мгновение, мне пришлось остановиться, чтобы унять воспоминания.

“Боже мой, и вот теперь здесь!.. И, быть может, это последние минуты покоя, ибо уже скоро начнется буря. *Fiat voluntas Tua!*...”**

Затем было торжественное богослужение в русской церкви, посвященное дню веры и молитвы. Присутствовали все командиры, все высшие офицеры, были представлены все части.

И вновь служил я, уже в третий раз сегодня.

Во время мессы я кратко истолковал значение праздника. Мне пришлось сдерживать напор

* Песнопение католической Церкви, исполняемое на Богослужении в праздник Непорочного Зачатия.

** Да будет воля Твоя (лат.).

чувств, какой бывает перед отъездом, перед расставанием; но, как солдат и священник, я выказал искреннюю растроганность в связи с этим промыслительным призывом к вере и молитве, прозвучавшим в канун тяжелейшего сражения. Обстоятельства времени и места придали словам особую действительность. Потом я благословил предстоящих, как в последний раз; и умолял Бога побед явить нам Свою милость в нашем решающем столкновении с врагом.

Сейчас ночь.

Я спокоен, потому что уже давно предложил себя в дар Богу, и готов ко всему. Но вокруг и рядом — угнетающая тяжесть.

После нескольких дней духовного спокойствия я чувствую, как в глубине сердца начинается новый приступ бесплодия, или новый кризис, который проявляется в обычной форме: "Но как же всё-таки страшна эта проблема зла!"

Говорят, завтра, 10 декабря, русские пойдут в наступление. Если это — начало урагана (но откуда этот озноб?..), я хочу, Господи, чтобы, пока будет длиться испытание, от меня не отступало нынешнее чувство наполненности верой, любовью и надеждой, которое Ты мне посылаешь сегодня. То, что свершится, свершится по воле Твоей; но прими от меня лишь то, что сможет укрепить мое состояние благодати, а не то, что, к несчастью, может его омрачить. Даруй мне благодать делать добро всем, кто будет рядом со мной.

КРОВАВОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ НА ДОНУ

10 декабря

Ночью русские пошли в наступление.

В 2 часа степь встрепенулась, словно очнувшись от смертного сна. Все голоса, все виды оружия, все пушки прокричали, прогремели, пророкотали: "тревога!" Потом каждая пядь земли ожила, каждая травинка пробудилась, каждая балка за рекой до краев заполнилась человеческими фигурами.

Вся степь, исхлестанная уральскими ветрами, оборотилась против нас: она обрушила на итальянские позиции шквал дьявольской войны.

Но никто не прошел. Еще до рассвета всё опять погрузилось в тишину. Итальянские опорные пункты на два часа превратились в жерла, изрыгающие огонь и сталь всех размеров, всех калибров, во всех направлениях. Непроницаемая стена смерти.

Сейчас всё спокойно; русские унесли своих павших. Наши ненадолго отпустили оружие, которое так раскалилось, что чуть не сожгло им руки, и назначили ему свидание на завтрашнее утро.

В тот же час!

Были атакованы только несколько пехотных частей. На правом фланге пока спокойно: левый фланг, который держат альпийские стрелки, поражает невозмутимостью. Альпийцы смотрят вниз и приговаривают: "Поглядим, на что способна эта пехота".

Но никто из них не сомневается в ответе.

Такое впечатление, что русские, по ряду причин, сочли, что слабейшим звеном в наших построениях является центр. Это позволяет понять их тактику. На правом фланге дивизии старого Итальянского экспедиционного корпуса в России внушают опасения; на левом позиции альпийцев считаются неприступными. Русские и сами, по слухам, признают, что на Россошских высотах им противостоят три лучшие дивизии в мире. Так что оставалось только испытать удачу в центре.

Но что они скажут после того, как получили такой отпор?

К вечеру прибывают первые раненые из тех, что участвовали в ночном бою. Они немногочисленны, и их моральный дух необычайно высок. Схватка их опьянила.

Они не хотели покидать передовую. Им хотелось дожидаться завтрашнего утра, чтобы снова поучаствовать в адской игре.

Ночь.

Бомбят в Талом, бомбят в Суровке. Приказано везде потушить свет. Они прилетят и в Кантемировку?

11 декабря

В тот же час, что и вчера, степь пережила такое же огневое пробуждение. Но этим утром оно было еще ожесточеннее.

Говорят, в какой-то момент наши линии не смогли обеспечить заградительный огонь. И тогда нашим пришлось выйти из-за укрытий. Враги шли по трупам, продвигались вперед сомкнутыми рядами, подходили вплотную к нашим позициям. Затем, под мощными выбросами огня, которые, правда, иногда чуть запаздывали, но убойной силы не теряли, русские падали снопами, как подкошенные.

У раненых, прибывающих сегодня, вытаращенные глаза.

Вот они, русские!

Они видели их совсем близко, в двух шагах. Русские не падали даже тогда, когда в них попадали пуля или осколок снаряда: казалось, что сила инерции все равно толкает их вперед. И эти ребята с выпученными глазами получили ранения именно тогда, когда им показалось, что все враги уже убиты.

“Но, господин лейтенант, их же немереное количество! Это какая-то нескончаемая лавина!”

Пока на нашем берегу происходили эти столкновения, наша артиллерия, с миллиметровой точностью и поразительной скорострельностью, била по реке из всех калибров.

Это нам тоже помогло: в какой-то момент русских на нашем берегу больше не стало.

Сегодня раненых побольше: по их словам, были значительные потери в нескольких наших ротах. Но линия обороны все так же невредима.

Переброска войск осуществляется не только обычными средствами, но и, в массовом порядке, железнодорожным транспортом. На станции стоят наготове штук тридцать вагонов; завтра первый эшелон отправится на Ворошиловград.

Из района Сталинграда — по-прежнему плохие новости. Передвижения отмечены по всему длинному фронту, проходящему вдоль излучины Дона; но, как полагают, самый сильный удар придется выдержать итальянским дивизиям, потому что они образуют плечо всего южного фронта

Если русским удастся прорваться в направлении Ворошиловграда, все немецкие армии Юга окажутся запертыми в излучине, без надежды на спасение.

Вокруг ощущается некоторый оптимизм, потому что, по просочившимся сведениям, должны подойти несколько мощных немецких бронетанковых частей, которые окажут поддержку обороне, вклинившись между итальянскими дивизиями.

12 и 13 декабря

Два дня как возобновилось сражение на Дону. Сейчас идут особенно ожесточенные бои.

Свежие, постоянно обновляющиеся войска снова ударили по нашей обороне. Наши ответили яростным огнем. Это была ужасающая бойня, и ей не видно конца.

И все же, на кураже, шагая по трупам, русские время от времени подбираются вплотную к нашим опорным пунктам. И тогда, под адский треск всех видов автоматического оружия, солдаты кричат из укрытий офицерам: «Пора? Пора?»

И по сигналу бросаются навстречу врагу со штыками наперевес и с гранатами, крича: «Савойя!» Этот вопль и такой род боя устрашают русских, которые при первом столкновении впадают в панику. Потом всё начинается сначала.

Драка пошла погорячее и еще неистовей, чем прежде: иногда в рукопашной схватке сходятся солдаты самых разных родов войск и национальностей: пехотинцы, берсальеры, чернорубашечники, немцы и русские. И поскольку итальянский воинский клич показал себя верным предвестником победы, все, идя в атаку с холодным оружием, орут: «Савойя!». Итальянцы, немцы, даже русские, не сомневаясь в магических свойствах этого слова, кричат: «Савойя!» Но в конечном счете, всегда берут верх наши, чья доблесть в рукопашных единоборствах неодолима.

Полк немецких гранатометчиков был уничтожен почти полностью; русские глубоко вклинились в нашу оборону, но на их пути встали чернорубашечники и не дали им пройти дальше.

Севернее 3-й батальон 10-го пехотного полка четыре раза поднимался в контратаку и бился до последнего человека.

Борьба идет титаническая: на одного нашего приходится десять русских.

Вчера вечером в рядах противника как будто появились признаки усталости: это был момент смены. Свежие силы занимали место истощенных. И затем драка пошла уже без остановок. Наши, без смены и без отдыха и почти на голодный желудок, защищаются и контратакуют всё с тем же героизмом. Русских, наверно, должно было напугать непобедимое ожесточенное упорство итальянских войск.

Госпитали наполняются ранеными. Тысячу с лишним доставили за последние два дня. Мы всё еще отвлекаемся на продолжающиеся бои, но госпитальная жизнь всё более поглощает наше внимание.

Эпизоды, достойные эпоса, истории удивительных подвигов, страшные сцены войны находят отражение и здесь, в тишине госпитальных палат. Всем есть что рассказать, но они постоянно засыпают меня вопросами.

— Какие новости?

Они ничего не просят для себя; если боль еще не совсем их изнурила, если жизнь теплится в них настолько, что хватает сил запоминать, они требуют от меня новостей.

— Что говорят те, кого только что привезли?

Об участке полка X? О II батальоне полка Y? О высоте 192? Об излучине В.? А немецкие танки пришли?

Но какой страшный раскол у меня внутри!

Все по-прежнему стремится к фронту, к передовой, где бушует самая эпическая битва за всю военную кампанию в России. Чувство, разум, воля, надежды — вся жизнь, одним словом, — с теми, кто сражается, с теми, кто падает на поле боя, с теми, кто умирает.

Но нужно, чтобы жизнь продолжалась и здесь, рядом с нами. Для того чтобы бегать из палаты в палату, от раненого к раненому; для того чтобы удовлетворять тысячу просьб, тысячу срочных нужд. Это та же мука, что и в К., но с таким отличием: там мы были в удалении от передовой, здесь весь город кипит, весь наш сектор содрогается, вся война полыхает. Если проиграем здесь, проиграем всё.

На станции люди двигаются в бешеном темпе. По улицам все не ходят, а бегают.

В разных палатах нашего госпиталя все нервничают.

Важно одно: не уступать, продолжать сопротивление, держаться изо всех сил. Имеет значение то, что устремляется к передовой, а не то, что возвращается оттуда; то, что идет на нужды войны, а не то, что уже отработано ею.

В штабах говорят об оружии и о бензине, в канцеляриях говорят о войсках и перемещениях: начальство хочет знать только о том, что вносит положительный и незамедлительный вклад в победу: всё прочее отбрасывается.

Но раненные хотят...

Им хотеть не полагается; сегодня хотеть могут только сражающиеся.

Начинается другая огромная драма. Нет места для тех, кто страдает; есть место лишь для тех, кто сражается.

Это — закон тотальной войны. Но люди, естественно, не хотят терять человеческий облик даже в такие минуты; и потому и сегодня, не считаясь с реальностью, они ждут чудес от учреждений.

“Есть такая-то проблема, такое-то затруднение, такая-то нужда...”

“Обращайтесь в госпитали. Что они там делают, в госпиталиях?”

“В госпиталиях?”

В госпиталиях, вплоть до начала последних боев, царила бесконечная беготня: руководители бегали туда-сюда, кричали, трудились не покладая рук, чтобы добыть хотя бы необходимое. Вообще-то они просили предоставить им и остальное, но эти просьбы оставались без ответа. Сегодня есть то, что есть; но есть и нечто, что восполняет нехватки: отчаянное, пронзительное желание всё уладить и всех удовлетворить.

Вот что делает война: берет людей и подвергает их дух и тело немислимым нагрузкам, заставляет их пускать в ход все источники энергии, даже самые потаённые, вплоть до сверхчеловеческих усилий.

Они хотят воды? Бежим за водой.

Им хочется хлеба? Бежим за хлебом.

Им требуются одеяла? Бежим за одеялами.

Кто-то (может быть, не сознавая, где находится) кричит, что не может целыми днями лежать, уставившись в потолок.

— А что, газет больше нет?

Если мне удастся на бегу отыскать где-нибудь поблизости номер, несу ему: "Ну вот, видишь, даже газета для тебя нашлась!"

Но часто их не бывает; а с девятого числа просто нелепо ожидать их появления. И тогда я говорю: "Слушай, не шуми. Ты разве не чувствуешь, какой сейчас неподходящий момент, чтобы говорить о газетах?"

— Почему?

Я не говорю ему почему.

Но внизу еще шестьдесят раненых, которых только что привезли. В палате Г люди еще не кормлены, их человек 15; в палате В — умирающий; потом надо забрать одеяла со склада, вырыть несколько могил на кладбище, взять данные о двух оперированных по поводу перитонита...

Везде встречаешь бегущих или стонущих людей. Русские женщины, которые приходят делать уборку, выглядят испуганными и почтительно отступают, когда мы проходим мимо. Лёня, похоже, плачет. Офицеры перестали смеяться; солдаты помрачнели. Мне, помимо всего прочего, при-

ходится заставлять себя выглядеть спокойным и невозмутимым.

Вечер.

Я иду соснуть несколько часов, но уверен, что меня разбудят, чтобы к кому-нибудь позвать. Есть несколько очень тяжелых; я уже подходил ко всем им, но в час смерти...

«Боже мой, Боже мой! Что такое час смерти? Господи, вот я: быть может, это — мой великий час. Дай же мне мир, спокойствие, силу. *Si potest transeat... veruntamen non mea sed Tua voluntas fiat!*»

14 декабря

Вот-вот должна начаться рождественская новена, по нам приходится прервать сооружение вертепа. В моей комнате я размещу раненого капеллана.

Чем же всё это кончится?

15 декабря

Что происходит на передовой, не знает никто. Ясно, что русские все еще находятся на правом берегу Дона. Штабеля трупов, вода в реке красная, битва еще яростнее, чем прежде.

«Боже мой, Дон станет для русских тем, чем для нас была Пьяве?»**

Рассказывают о подвигах наших солдат, достой-

* «Если возможно, да минует меня... впрочем, не как я хочу, но как ты» (лат., Мф 26,39)

** Река в Италии, ставшая во время I мировой войны последним рубежом для Итальянских войск.

ных эпопей, легенды. Наши части обескровлены; пять дней схватки превратили позиции в вулканы. На реке 40 градусов мороза. Русские бьются, как оголтелые черти: они вооружены прекрасным автоматическим оружием, охотятся на людей с минометом, постоянно обновляют свои ряды, немедленно заполняя образующиеся пустоты; и давят, давят, давят, безумцы, охваченные стремлением к смерти.

Наших вдохновляет твердое стремление не уступать ни пяди. Парабеллуму они противопоставляют винтовку, которая от стужи порой дает осечку; количеству — хладнокровие; превосходящему объему огня — отвагу; свежим войскам — второе дыхание.

В этом состязании между материей и духом, между количеством и доблестью, между массой и личностью, порой кажется, перевес оказывается на стороне русских; тогда начинается рукопашная схватка, и позиция возвращается в наши руки.

Каждый пехотинец, сражающийся на Дону, созидаст памятник итальянской доблести и чести. Кто-то выскакивает из окопов, осеняя себя крестным знамением; капеллан, ослепший рядом с орудием, поднимает своих в контратаку и бежит впереди них, пока они не оказываются в гуще врагов, а потом погибает. Офицеры, которые бросаются врукопашную; полковники, которые ведут роты отвоевывать захваченные врагом позиции...

Линия фронта до сих пор не прорвана ни в одном месте; боевой пыл всё тот же; но вот надежды, похоже, тают. Если бы завтра натиск прекратился, победа была бы за нами: но если он будет продолжаться, кто заменит наших? Кто заменит павших? И сколько еще времени смогут длиться эти сверхчеловеческие усилия?

Госпитали страшно переполнены. Свободного места не осталось вовсе. Все помещения, включая лестничные проемы, заняты, все возможности исчерпаны. Куда же мы положим других?

«Сортировать и направлять в тыл!»

Дороги, ведущие в Ворошиловград, стали дорогами скорби. Нескончаемые потоки раненых и негодных к строевой направляются к медицинской столице юга. Но теперь уже недостаточно и этой массивированной переброски. Не успеваем мы выпустить одних, как прибывают другие, и госпиталь снова наполняется до предела. Отныне, не прекращая оказывать первую помощь, наш медицинский центр будет всё же в основном играть роль перевалочного пункта.

Передвижная медицинская бригада сегодня утром спешно направилась на участок Итальянского экспедиционного корпуса в Россни, потому что и на этом участке, судя по всему, русские пошли в наступление.

До сих пор мы выдерживали испытание постоянно растущей потребностью в медицинской помо-

ше. Мучительными усилиями нам удалось взять ситуацию под контроль. Но этим вечером мы начинаем ощущать первые признаки разлада.

Предстоит сделать такие-то дела, забрать такие-то анализы, явиться на такие-то встречи, пойти к таким-то раненым.

Но я больше не могу. Духовная перегрузка меня почти парализовала. Вот уже несколько ночей я не сплю; вчера не ел, да и сегодня тоже: еда мне противна.

У меня внутри возникает какая-то странная подавленность, когда ситуацию оценивают пессимистично.

Но солдат я подбадриваю, заверяя их, чуть ли не на спор, что всё будет хорошо. Больным говорю, что я оптимист; общаясь с офицерами, утверждаю, что еще не пришло время унывать; всем демонстрирую спокойствие. Но дела-то и правда плохи.

Я тоже думаю, что героическое усилие наших солдат не может длиться вечно. Единственный серьезный аргумент, за который я упорно цепляюсь, чтобы отстоять свою веру в благополучный исход, — Провидение не может допустить победы большевиков. Но потом я спрашиваю себя: "Но почему Провидение не может допустить победы большевиков?"

"О, Боже, что за муки, какая Гефсимания!"

Вчера мы похоронили усопших как полагается: казалось, это невозможно, но, бегая безостанов-

вочно туда-сюда, энергично мобилизуя людей, встреченных на улице, я сумел организовать рытье могил. Сегодня это невозможно.

Людей больше нет.

Капитана Г., умершего у меня на руках во время операции, нам захотелось проводить на кладбище с воинскими почестями.

Можно сойти с ума: носильщики падали раз десять. Холод такой, какой, собственно, и бывает при 40 градусах мороза; дороги непроходимы. Гроб чуть не раскрылся; в конце концов нам пришлось его тащить волоком. Но кто выроет яму? И когда?

И кто теперь будет делать мне другие гробы? Кто будет записывать данные для регистрации? Кто поможет искать тех, кому особенно худо?

И все-таки я хочу их видеть, хочу всех их подготовить к смерти, хочу быть рядом с ними хотя бы в миг последнего благословения.

Даже ценой потери сознания, прямо у их одров скорби.

Но вот снаружи — новая автоколонна с ранеными. Куда мы их положим?

16 декабря

Не знаю, что произошло со вчерашнего вечера, когда прибыла автоколонна, до настоящей минуты.

Слухи с передовой — все более тревожные. Возможно, во всей истории, не было эпизода, когда кто-либо выказывал более высокую доблесть, чем наши солдаты на Дону. Немецкие подкрепления не пришли.

Русских стало еще больше; тыловых пополнений не хватает, и они прибегают к помощи резервов. Но перед ними, как и прежде, встает стальная стена.

У русских даже танки появились. Откуда они взялись? Кто их пропустил?

Не важно. Воля к сопротивлению уже сменилась каким-то яростным безумием. Что же будет дальше?

Не важно.

Пехотинцы, чернорубашечники, артиллеристы, гранатометчики братаются, сражаясь, умирая и побеждая.

Общее руководство войсками, похоже, сходит на нет. Борьба и победы продолжаются по инерции, которая идет от железной решимости никого не пропустить.

Гранаты против автоматов, гранаты против минометов, гранаты против танков.

Правда ли, что они прорвались в В.? А что случилось на высоте 192?

Гадюша еще наша?

17 декабря

Море страдания и смерти.

Сейчас они разлились повсюду. Весь город — госпиталь. Кто теперь считает раненых? И кто на передовой считает погибших?

И кто сумеет измерить физические и нравственные страдания?

Русские закрепились на противоположном берегу Дона.

Немцы применяют *гибкую тактику*. Что такое *гибкая тактика*?

А итальянцы тем временем получили приказ умирать на месте...

Младший лейтенант, убедившись, что его рота разбита, приказывает отступать. Два солдата, у которых еще осталось оружие, смотрят ему в лицо с яростью.

— У вас есть письменный приказ?

— Нету!

— Ну тогда умрем здесь, на месте...

Старый капитан-артиллерист поставил орудия на прямую наводку: русские, несмотря на ужасающие потери, уже близко; кто-то предлагает *рвать когти*. Капитан обнимает свои орудия и погибает рядом с ними.

Высота 192 стала нашей Голгофой.

Пехотинцы, изнуренные до предела, были вынуждены отступить.

Чернорубашечники пошли в контратаку и смяли противника; затем, доверив позицию малочисленным пехотинцам, быстро отправились

дальше, потому что их вмешательство срочно требовалось и в другом месте.

Тогда русские вновь стали одолевать; но чернорубашечники вернулись и подавили всякое сопротивление.

И так четыре раза — пока хоть один оставался в живых; пока сила духа еще могла как-то противостать грубой силе числа.

Всё, наступает крах.

Степь у Гадюши раскаляется и испускает языки пламени. Это завывали катюши!

Итальянское командование смещено. Но где немцы? Кто же еще сражается на Дону?

Чувство чести, чувство долга, отчаянная воля к победе — итальянский солдат.

Вдали от родины, без помощи, без командования, без приказов. Вокруг него рухнуло всё: аргументы злощастной пропаганды, оправдания для союза с немцами, соображения престижа. Он больше не знает, кто прав. Но внутри себя, в осознании себя итальянцем и христианином, он обрел последнее основание для борьбы не на жизнь, а на смерть.

Громяхают над степью, завывая зловеще, катюши; ветер режет, как стальное лезвие (при температуре минус сорок всё замерзает); русские бьются, как какие-то адские фурии; наступает время, когда всё тонет в лавине железа и огня; но пехотинец, берсальер, чернорубашечник

ощущают свое превосходство надо всем. Последняя опора – дух.

Выстрел из катюши – всё горит.

Гранаты бросают окровавленными руками. Если есть кровь, значит, смерть близка... а вокруг уже никого нет... но дух не умирает...

Страшные вещи творятся на передовой.

Ходят самые абсурдные слухи. Кто-то говорит, что всё потеряно; еще кто-то утверждает, что дивизия Т, перейдя Дон, берет в окружение русские войска.

Кто сказал, что дивизия Т маневрирует на русской стороне?

Сегодня вечером я изнемогал. В сердце и в душе у меня стоял стон всех раненых и молчание всех павших, и я утишал в своей внутренней хранилище все их страдания и мечтал о том, чтобы сказать доброе, обнадеживающее слово. Никак не получалось.

И тогда я вышел из госпиталя, дотащился, неоднократно падая на снег, до перекрестка и остановил грузовик.

– Правда ли, что дивизия Т перешла в контрнаступление?

– Все говорят об этом, но точно ничего не известно.

Обидно: не за себя, а за моих ребят, которым было бы безумно больно услышать, что это неправда.

Сегодня же вечером курьер из Миллерово привез мне письмо от о. Бонадео.

В этой раскаленной добела атмосфере весточка от близкого человека — словно окно, на мигнутку отворенное в прекрасный и далекий мир.

Но теперь буря обрушилась и на о. Бонадео. "Мой дорогой! Вот и я получил приказ отправляться. Еду в расположение III дивизии берсальеров. Время тяжелое, но Господь нам поможет. Будем едины в молитве. Любящий тебя..."

В Миллерово еще ничего не знают? Куда же он попадет? Где-то сейчас эти берсальеры?

Мне сразу же приходит в голову, что нужно срочно послать к нему кого-то, чтобы ввести его в курс последних событий. Но разве найдешь сейчас такого гонца?

"О Боже, защити нас!"

Не знаю точно, сколько у нас сегодня покойников. Стоит начать об этом думать, как сознание помрачается и кажется, вот-вот упадешь в обморок. Говорит, у меня температура. Но до температуры ли сейчас!

Итак, я не знаю, сколько погибших; но гробов всего пять и ни одним больше. Остальных мы понесем на кладбище в чем есть.

И оставим там непокрытыми? Не предадим земле?

"Боже! Дай мне силы устоять на ногах, не упасть, найти нужные слова, когда я буду рядом с ранеными".

18 декабря

Два дня как я не совершаю мессу. Ношу Свя-
тые Дары с собой. В свободные мгновения у меня
из сердца вырываются раскаленные слова: "Боже
мой, я не жалею, что умираю, я сокрушаюсь отто-
го, что больше так не могу! Еще не пришел мой час?"

На каждой ступеньке лестницы — по ранено-
му. Раненые в канцелярии, в вестибюлях, раненые
в коридорах, в дверных проемах, раненые на сто-
лах, на стульях, раненые внутри, у входной две-
ри, раненые снаружи: те, что хотят попасть
внутрь, но не помещаются.

"Довольно, Господь мой; не лучше ли умереть,
чем оставаться здесь, чтобы свидетельствовать
против человеческой ненависти?"

Нет больше спирта, нет больше бинтов, нет
больше ничего: страдание и смерть, страдание и
смерть.

У меня температура сорок; я все еще бегаю
всюду, за счет пожирающего меня нервного пере-
возбуждения; но, конечно, придет минута, когда я
упаду без сил.

Сейчас мы уже едва можем отличить мерт-
вых от тяжелораненых. Мне помогают четверо
солдат, которые складывают трупы за сарай, на
снег.. ничем их не накрывая.

(У меня в сердце эхом отзываются рыдания
многих и многих матерей, которые ждут... Но эти
уже не вернуться!)

Время от времени мне хочется и самому лечь на пол, укрыться одним из этих окровавленных и грязных одеял и ждать... Чего?

Вчера утром начался разгром. Сначала мы увидели только отдельных солдат, оставших от своих частей, затем — более многочисленные группы, затем — бойцов из всех подразделений. Они появляются изнеможенные, охваченные ужасом, обезумевшие от усталости и скорби.

А где русские?

Теперь это никому неизвестно. У нашего командования больше нет связи. Говорят, они в нескольких километрах от Кантемировка; говорят, уже вошли в Миллерово; говорят, прорвана наша линия обороны на всем ее протяжении...

А что раненые в госпиталях?

Поначалу еще веришь, по обыкновению, во всемогущество властей. Но затем констатируешь с болью, что события сильнее любой власти. Никакого контроля больше не существует. Движемся по инерции. Всё рушится.

Вот и пришел решительный час.

Нас раздирают две противостоящие силы: неистовое желание не сдаваться, реагировать, продолжать владеть ситуацией; и непреодолимое стремление предаться, наконец, судьбе, как после долгой агонии.

На какое-то мгновение внутри поднимается протест: "А как же дом? А родные? А друзья?"

Но затем ему на смену приходит покой. Я не плачу, потому что сердце мое уже окаменело от скорби.

Внутри у меня сладостная тишина.

“Вот я, мой Боже; и если Ты позовешь меня...”

Обнаруживаю в часовне двух плачущих солдат.

— Ну что вы, как дети малые! Будем готовы исполнить свой долг до конца. Об остальном позаботится Господь.

Все офицеры валятся с ног от усталости; и все же им удается, героическим усилием воли, подавить душевную муку и тщательно выполнять свои задачи. Спеша в операционную, встречаю Б., который разбивается в лепешку, чтобы удовлетворить последние просьбы о лекарствах.

Почему мне вдруг столь ясно вспомнилась его последняя встреча в городе Б. с матерью и с невестой?

Пожилая дама плакала, а девушка вкладывала ему в руки прощальный подарок — новые часы. В первый раз завел их я, и тогда это показалось мне добрым предзнаменованием.

— Б.! Который там час на твоих золотых?

— Да плохой, плохой час. Ты еще надеешься?

— Я надеюсь всегда.

Но мне надо бежать, потому что эти часы у него в руках трогают меня слишком глубоко.

Г., сильный, спокойный, обаятельный Г., как ни в чем не бывало продолжает свою работу.

Сердце у него, должно быть, разрывается от скорби, но он не хочет об этом знать. Когда остановится он, мы непроизвольно схватимся за грудь, чтобы проверить, бьется ли там еще сердце...

Начальник госпиталя осознает масштабы наступающей бури.

Пока Д. разрабатывает планы реванша, он, стоя в дверях канцелярии, смотрит на ту выставку страдания и смерти, которая тянется вдоль коридора, прерываясь в глубине, у часовни, и слезы текут у него по щекам...

А доктор Б.? А сержанты? А солдаты?

Мы пытаемся сочинить последнюю открытку: хотелось бы опять написать, что *все у нас хорошо*. Но на сей раз лгать уже нельзя. И мы ставим только подпись.

Когда идешь, нужно быть осторожным, а то, не дай Бог, наступишь на раненого, а может, и на мертвеца.

Госпиталь теперь — сущий ад. Какой-то покой возникает, когда я вхожу и призываю всех к молитве.

Люди умирают от боли, от голода, от жажды, от страха перед надвигающимися русскими.

Кто же доньше держит меня на ногах?

Я провел всю ночь в бараке, где наспех положили человек двести раненых. Никто об этом

не знал. Проходя мимо, мы с лейтенантом Д. слышали крики и пошли взглянуть, в чем дело.

Ни зги не видно, потому что город — под налетами.

Волна страдания окатывает нас, когда мы входим. Они не ели несколько дней, сгорают от жажды, окоченели от холода.

— Ребята, послушайте!

Вопли, проклятия, ругань. Наконец, всё стихает.

— Я капеллан, проходил тут мимо; успокойтесь, скажите, чего вы хотите, и я постараюсь вам помочь.

Шквал голосов: "...Умираю".

— Тут труп.

— Есть... пить.. холодно... помогите!..

Поднимается адский шум.

И тогда я кричу: "Тихо! Я понял. Слушайте внимательно: тут со мной лейтенант, он сейчас же пойдет искать для вас одеяла, хлеб и воду. Я на минутку подойду к самым тяжелым, а потом мы всё уладим".

— Лампу!

— Никаких ламп: город под бомбами.

Где же умирающие?

Я иду медленно, но все равно наталкиваюсь на раненых: это неизбежно; ноги, руки, стоны, крики "больно!"

— Повторяйте за мной: "Радуйся, Мария!

Ничего не могу выдавить из себя, кроме слёз: это молитва смерти или молитва жизни?

— Перекреститесь, ребятки, а я вас благословлю.

Один уже умер: соборую его *sub conditione*. Другой вот-вот отойдет: готовлю его, исповедую, причащаю и соборую. Когда собираюсь идти дальше, он нервно сжимает мне руку: "Разве вы не побудете со мной?"

— Не могу: есть и другие умирающие.

Ну всё, больше не могу.

Поднимаясь по лестнице, я упал. Лейтенант медслужбы Г. говорит, что у меня очень высокая температура; хочет уложить меня в постель. Но как я могу бросить госпиталь?

Капеллан о. Б. звонит мне из Талого. Спрашивает: "Что происходит в Кантемировке?" Отвечаю: "Катастрофа".

— Тебе нужна помощь?

— Как воздух. Но каким образом?..

— Об этом не думай; я пришлю тебе двух капелланов.

18 декабря, вечер

Основная часть солдат, потерявших свои подразделения, сейчас появилась в городе. Невозможно описать то, что происходит этим вечером.

"Если я заплачу, Господь мой, это будет признак слабости?"

* Под условием (*лат.*).

А что же солдаты? Сначала оборонялись как одержимые, а теперь, значит, побежали?

Никто не побежал.

Те, что пришли сейчас, — из тыловых служб. Бойцы все погибли.

Наводнившие город люди в форме бегут без оружия, охваченные паникой, безликие, неживые.

Грузовики перегораживают улицы; бензина нет. В ход идут сани, мулы, лошади, повозки. Высшие офицеры попытались было организовать войска. Но в какой-то момент плотину прорвало, и опять всё утонуло в беспорядке, смятении, панике.

«Русские, русские!»

Буря вот-вот налетит на город; русских мирных жителей что-то стало совсем не видно. Ходят слухи о жестоких расправах. Резня в госпиталях, зверские убийства солдат, целые палаты перебиты, пропали в рукопашной, как в омуте. Что здесь правда?

Лёня плачет в углу.

Это и есть отступление наполеоновской армии? Мертвые солдаты повсюду. Говорят, улицы усеяны погибшими от переохлаждения.

Столкновения, стычки, душераздирающие сцены

Наши друзья из передовых медицинских частей прибыли сегодня вечером. Они не в состоянии говорить. Измучены до предела.

Бросаются нам на шею; потом, опустив голову, обрисовывают истинный масштаб трагедии.

— А вы? Что вы делаете?

— У нас нет распоряжений. Видите, в каких условиях мы находимся.

Сегодня же вечером уйдет большой эшелон с ранеными. А что же будет с другими?

Изба, где мы будем ночевать сегодня, — почти в полной темноте. Мы собрались здесь ненадолго в час ужина, чтобы увидеться, порасспросить друг друга, поговорить. Но ничего не видно, и нет настроения говорить. Последние новости ужасны.

Б., печальный донельзя, сжимает мне руку и говорит:

— Мы на передовой! Ты еще надеешься?

— Никогда не сомневайся.

Меня зовут: кто-то умирает.

— Спокойной ночи!

Преподаю таинства пылающими от жара руками. Солдаты замечают, что мне плохо. Но я говорю, что всем нам одинаково плохо.

— Положение отчаянное?

— Да нет, отчего же; но очень тяжелое. Возложите упование на Матерь Божию!

Выхожу, чтобы отправиться в свою избу. Все офицеры уже ушли. Я прохожу мимо трупов, сложенных штабелями у сарая.

Не пойму, упал я или встал на колени.

“*Requiem aeternam dona eis, Domine*”. А нам, Боже, когда Ты даруешь мир? Завтра, этой ночью, через час? Сейчас я рухну на кровать... но *non recuso laborem*”^{*} Я рад, что многие приходили исповедоваться, рад, что Ты по-прежнему здесь, на моей груди, — дабы чувствовать снедающий меня жар, обонять запах крови, орошаться слезами моих друзей и моих ребят”.

Врач, который ночует рядом со мной на полу, говорит, что я очень плох, что завтра не встану; что нужно этим озаботиться, а иначе...

“Какая разница между мною, больным, и тобой, здоровым, если этой ночью сюда придут русские?”

ВСТРЕЧА СО СМЕРТЬЮ

Ночь с 18 на 19 декабря

Не могу заснуть.

Час назад попросились на ночлег человек десять отставших солдат. Русская женщина приняла их, они легли на полу, до полуночи говорили вполголоса о пережитом за день; сейчас спят.

Слышу оружейные выстрелы.

Около полуночи они едва слышны.

Около часа уханье становится отчетливей; к

* Вечный покой даруй им, Господи (лат.).

** Не отказываюсь от трудов (лат.).

двумя начинаю беспокоиться: они уже вплотную подошли к городу?

Часа в три и доктор Г. просыпается, как от готика.

— Что происходит?

Всё вновь затихает.

Что это? Кровать подо мной вертится, и комната, и изба. Смогу ли я теперь вообще стоять?

Вопрос этот так меня тревожит, что я встаю и пробую ходить. Первое впечатление очень неприятное, но затем я, усилием воли, перебарываю себя. "Ну вот, только бы мне и наутро чувствовать себя не хуже!"

19 декабря · 5 часов

Проезжают последние грузовики организации *Todt*: они увезли всё, до последней лопаты.

— Слушай, Г., надо бы нам пойти взглянуть, что там, да? Мне как-то беспокойно, у меня нехорошее предчувствие.

5.30

На улицах уже стоит оглушительный шум. Продолжается вчерашнее бегство. Г. не хочет, чтобы я выходил из дома: я заверяю его, что вернусь в постель, если отыщу двух капелланов, которые должны меня заменить.

6.00

В госпитале сегодня мало кто спал. Многие слышали орудейные залпы. Все взволнованны, все надеются, что смогут уехать немедленно, на эшелоне, который должен быть готов к отбытию ранним утром.

“Господин лейтенант, Вы слышали орудейные выстрелы ночью?”

6.30

Душераздирающие сцены.

Мы отбираем людей для отправки. Все хотят ехать. Некоторые просят об этом во имя своих детей, во имя матери, во имя всего святого, во имя Божье.

Но для всех места нет!

Обнаруживаю двух земляков, одноклассников.

— Какими судьбами? Ладно, проходите, передавайте привет моим родным!

Они целуют мне руки.

Так, теперь дальше. Погрузить лежачих как можно быстрее. Если нам удастся укомплектовать эшелон, будет спасено немало тяжелораненых. Это наша главная забота. Другим можно будет помочь подручными средствами. Вновь забрезжила некоторая надежда. Если смогу, сегодня же утром отслужу мессу: чувствую, что мне это необходимо.

7.00

... Жуткий переполох на улице, у госпиталя.

В чем дело?

Вбегают, тяжело дыша, два начальника госпиталя в сопровождении своих офицеров и капелланов. Все в касках и с винтовками. Плохой признак!

— Русские уже здесь!

— Русские здесь?

Наш начгоспиталя смотрит на меня и бледнеет.

— Где они? Кто их видел?

— Они стреляют с высот: мы сами видели их танки.

У нас мороз пробегает по коже.

— Вы с нами? Мы уходим: здесь больше ничего делать.

— Как? Вы уходите? А приказы? А служебные помещения?

— Командования больше нет: теперь уже ничего нельзя сделать. Так, что вы решили? Что будете делать?

Ходячие солдаты выскакивают из госпиталя и исчезают. Машины скорой помощи с людьми на крыльях, на крыше, на капоте спешат прочь. Орудийный снаряд попадает в избу напротив госпиталя. Наши собеседники убегают.

Начальник нашего госпиталя смотрит на меня снова; затем, распознавая ход моих мыслей,

говорит: "Вы что будете делать?... А что вообще можно сделать?... Мы остаемся!..."

Мы остаемся.

Нас охватывает чувство ледящего одиночества. Мы могли бы поступить так же, как другие. Но мы одиноки не потому, что вокруг нас стало пусто: колодец одиночества мы обнаруживаем в своих душах, в том неопределимом чувстве, которое заставляет нас с ужасом воспринимать самую мысль о бегстве.

Первые орудийные выстрелы везде посеяли страх. Такое впечатление, что город захлебывается в крови и в смерти. Ночью в городе было несколько тысяч грузовиков и солдат: сейчас все в панике кинулись к единственной свободной дороге, которая ведет на Ворошиловград.

На мосту — затор.

Орудийный снаряд остервенело вгрызается в это скопище машин и людей. Мы закрываем ладонями глаза, чтобы не видеть...

Боже мой! Какие ужасы!..

Иисусе!

Какая буря вокруг! Но какой покой у меня внутри! Да, это и есть, несомненно, тот час, когда Ты взываешь ко мне.

*«Ecce, adsum!»**

Я бегу в часовню: простираюсь на полу, достаю из куртки маленькую дарохранительницу

* "Вот я" (лат.).

и причащаюсь. Сосредоточиться можно лишь на миг. О какой же милости должен я просить?

“Не знаю, Господи: чтобы мне исполнить волю Твою, и довольно”.

И через мгновение я уже вновь у дверей, на своем прежнем месте.

Начгопиталя опять смотрит на мост, где сквозь рассеивающийся дым начинает проглядывать копошение человеческих существ.

7.30

Все бегут.

Мы, принявшие решение остаться, — может быть, единственная неподвижная, иррационально устойчивая точка, которая различима в данной ситуации.

Мы пока друг другу этого еще не сказали вслух, громко, но мы друг друга уже поняли. Все — даже солдаты, которые стояли, трепеща, с касками в руках: теперь они молча откладывают их в сторонку, упрекая себя за слабость... Может быть, кто-нибудь остался и на коммутаторе?

Еще один пушечный снаряд разрывается метрах в двухстах.

Улицы по-прежнему кишат беглецами.

Мы видим даже тяжелораненых, которые, мучаясь от боли, ползут по снегу, чтобы только добраться до заветного перекрестка, до моста, по которому проезжают машины.

На самом же мосту — сцены под стать Страшному Суду. Машины не могут остановиться: задние, подгоняемые выстрелами, яростно поджимают. Ни у кого ни к кому нет больше никакой жалости.

У въезда на дорогу — изуродованный труп капеллана: тело его перерезано надвое, крест — красный от сочащейся крови.

8.00

Наконец, все мы, офицеры и солдаты, собрались на площади перед госпиталем.

Обмениваемся первыми впечатлениями. Делать больше нечего?

Б. отважился наведаться в штаб К. Вроде бы там кто-то еще есть — полковник, который пришел заменить тех, кто уехал.

С капитаном М. иду на телефонный узел. И здесь пока еще есть офицер — младший лейтенант.

— Можно позвонить?

— Штаб автомобильной группы... не отвечает.

— Штаб временной дислокации... не отвечает.

— Ставка К... не отвечает.

Серия орудийных выстрелов, нацеленных в ближний госпиталь. Стреляют из винтовок в нашем направлении: надо уходить. Партизаны начинают свою войну.

Сумятица в мыслях страшная, по постепенно нам удастся уяснить для себя свое положение.

Мы здесь для того, чтобы защищать последних раненых. Сколько их? Не сможем ли мы организовать колонию из брошенных грузовиков? Что нам остается делать?

Производя подсчеты, мы приходим к выводу, что массового убийства не получится. Кто-то предлагает спасти то, что еще можно спасти; другие шепчут, что начальнику госпиталя следовало бы кого-то оставить в приказном порядке, а других отпустить; может быть, время для этого еще есть. Третьи заявляют, что они не пригодны к оказанию медицинской помощи и спрашивают, нельзя ли им попытаться организовать собственное бегство.

Никто не отвечает.

Я уже решил: мое место здесь. Голос у меня внутри молит — *gemitibus inenarrabilibus** — чтобы Господь защитил нас! Но внешне я спокоен.

Иду приободрить раненых.

9.00

Раненые орут как проклятые. Все они догацились до второго этажа и прижались друг к другу, завернувшись в одеяла, сидя на полу и на кроватях. Все они в полном ужасе, будто их уже приговорили к смерти.

— Капеллан, нет больше никакой надежды?

— Спокойно, ребята, надежда еще есть. Не

* Воздыханиями неизреченными (лат.).

Волнуясь, точно известно, что немцы на подходе; скоро мы кое-что увидим. Помолимся.

Я начинаю громко читать "Радуйся, Мария". Кто может, опускается на колени; некоторые слезают с косяк; все повторяют молитву вместе за мной; кто-то всхлипывает.

"Бог мой, какое же ужасающее зрелище этот канун смерти!"

Я не могу смотреть им в лицо. Но откуда взять силы на такую великую надежду?

— Отдайте Господу всё, что происходит сейчас. Все мы едины; если придется умереть, умрем вместе.

10.00

Орудийный снаряд попадает в штаб временной дислокации.

Русский самолет с небольшой высоты обстреливает нас из пулемета.

Немецкий самолет "Штука" пикирует на русские танки, расположившиеся близ города, и два из них уничтожает.

Немецкий журавль проходит над нами на бреющем полете и сигнализирует о чем-то; потом из кабины даже высовывается человек и знаками призывает нас двигаться, бежать...

По группе офицеров, солдат и раненых, находящейся у входа в госпиталь, пробегает волна ужаса.

Бежать? Как? Куда?

Но призыв, оказывается, был обращен не к нам. Уезжают три последних немецких танка, которые до сих пор стояли за замаскированным бараком. У наших вырывается скорбный крик...

Потом наступает тяжелая, бездумная, немая тишина. Все смотрят друг другу в лицо и не находят слов. Чрезмерная скорбь действует на нас оуплююще.

11.00

Танки прекратили огонь. Но вот... стрельба. Кто это, вражеские войска?... Нет, это партизаны.

Из-за телефонного узла в нас стреляет русский. Сержант В. отвечает из револьвера. Пауза.

В избе, рядом с уборными, человек высовывается из окна; женщина пробегает мимо; из дома — винтовочный выстрел. Офицеры дают приказ отходить, и мы затаиваемся, наблюдая.

Ну вот, вслед за женщиной теперь бежит мужчина.

— Стой!

Подходим к нему с сержантом и с офицером.

— Руки вверх!

Ведем его к двери. Солдаты хотят его расстрелять, но я не позволяю; офицеры предоставляют мне свободу действий.

— Не причиняйте ему никакого зла. Наше дело дрянь, и такой залог нам совсем ни к чему.

Альдо Дель Монте. КРЕСТ НА ПОДСОЛНУХАХ

Еще выстрел из избы.

Никого не задело.

Сержант получает приказ сторожить пленного. И не дай Бог, если хоть волос упадет с его головы.

Затем наши оцепляют избы.

Я встречаю Д.П., капеллана 472-й роты.

— И ты здесь?

— Да, с капитаном и пятью рядовыми.

— Ладно, понесем крест вместе. Да благословит нас Господь.

Солдат бросает гранату в избы. Полдома как не бывало; никто не показывается.

— Вот вам еще одна!

Оглушительный взрыв; человек выпрыгивает из окна.

Два солдата бросаются к нему с винтовками наперевес. Он поднимает руки.

Еще один допрос, еще один обыск, новые заверения, что итальянцы не причиняют зла. Я говорю ему: "Мы — врачи. Итальянские врачи не воюют, никого не убивают; они только лечат раненых. Становитесь там; но не вздумайте бежать".

Тем временем лейтенант Д. совершил набег: реквизирует грузовичок, набитый оружием.

12.00

Стрельба прекратилась.

Вокруг повисла тяжелая тишина. Никто не двигается. Все ждут.

Мы бегло рассматриваем самые насущные вопросы.

Если они нападут, должны ли мы защищаться?

Нельзя ли отдать распоряжения по поводу того, как себя вести, когда русские войдут в город?

Не использовать ли нам русского майора для получения гарантий безопасности госпиталя?

И нельзя ли нам все же как-то отсюда выбраться?

И. подходит к исповеди. Принимая ее, вижу капитана М., который обвязывает руки и ноги всевозможным тряпьем. Зачем?

Лейтенант Л. подходит к исповеди; мощный взрыв обрушивает дом за бараками. Л. дрожит, я ободряю его отпущением грехов, но чувствую, что и сам неспокоен.

Пауза.

13.00

Сержант, по которому вели прицельный огонь из винтовки, прибегает известить нас о том, что все мы должны перебраться в ставку К. Минутное колебание.

Затем все мы приходим в движение, перетаскиваем и самых тяжелораненых. Я несу на спине лейтенанта Н.

Может быть, это проблеск надежды?

Разочарование. Кто отдал нам приказ поменять расположение? Полковник отсылает нас на прежнее место.

Несколько выстрелов. Еще один убитый солдат, несколько раненых.

Смеркается.

Пролетает русский самолет, поливает из пулемета. Загорелись стационарные склады и бензохранилища. И вот в этот момент все мы почувствовали, что обречены, будто кто-то громко прокричал об этом. Свет давал нам надежду, но что будет во тьме?

Снова слышна плотная стрельба. Солдаты дрожат. Капитан М. говорит мне: "Капеллан, не стоит ли провести офицерский совет?"

14.00

Совет офицеров.

В канцелярии сидят несколько плачущих солдат. Мы отсылаем их из комнаты. Я успеваю шепнуть им: "Вы заслуживаете похвалы; чем бы всё ни кончилось, вы исполнили свой долг".

Лейтенант Д. молчит.

Лейтенант Ч. темнел лицом: молчит.

У капитана М. руки в карманах, перекошенное лицо; и он молчит.

"Ну, давайте же, — говорю я, — проведем этот совет".

Капитан М. предлагает для рассмотрения первый вопрос: должны мы стрелять или нет. Неко-

которые говорят, что должны; мол, всё уже конечно. Так какая разница. Мы с М. говорим, что не надо именно потому, что "теперь уже всё конечно, и силой ничего больше не добьешься; так что постараемся чего-нибудь достичь, соблюдая международные нормы, установленные для нейтрального персонала".

Некоторые сразу же принимают нашу точку зрения, и в конце концов все соглашаются с нею.

Что-нибудь еще?

Говорим о русском майоре. Сначала мы приведем в должное состояние всех солдат, а затем русский майор и начальник госпиталя, встав у входа, по всем правилам сдадут помещения неприятелю.

Это предложение быстро берет верх над малочисленными возражениями; разговор угас: наше внимание привлекает отблеск полыхающего пламени в окнах. Уже вечер.

Оглушительные взрывы.

Несколько сильных, совсем близких разрывов едва не швыряют нас на пол.

Партизаны, при поддержке регулярных войск, штурмуют госпиталь, бросая в окна гранаты.

Это уже наша война и, вероятно, наш час.

Все мы кидаемся в коридор. Пронзительные крики, новые раненые, кусок коридора обвалива-

ется; все хотят перебраться туда, где безопаснее. Но куда? В углы? На первый этаж? В палаты?

Нас накрыл ураган.

Мой ординарец подходит ко мне смеясь.

Я его боюсь. Он хлопает меня по плечу и говорит: "Ну, вот и выпутались наконец!" Потом становится серьезным; кричит: "Но вы исполнили свой долг!" — и сбегает по лестнице. Похоже, в уме повредился. Больше его никто не видел. Куда он только делся?

Чувствую, что на глаза навернулись слезы, впервые за эти тяжелейшие дни.

"О Иисус, скоро жертва совершится!"

С молниеносной быстротой, пока я сбегая по лестнице, в голове у меня проносится, что моя сестра в последнем своем письме сообщила о сделанной для меня покупке: *новом облачении*.

Но куда это я направляюсь?

Осознаю, что почти невольно, повинувшись какому-то инстинкту, бегу что есть мочи в палату русского майора.

Продолжается паника и несусветная неразбериха в коридорах и в палатах.

Где сейчас офицеры и солдаты?

Мне кажется, что я отделяюсь от них. Может быть, мы больше не увидимся?

На пороге майорской палаты сталкиваюсь с капитаном М.: на его лице читаю то же негодование, те же намерения, ту же драму, что у меня.

Входим.

Русский майор и лейтенант лежат под кроватью, прикрывшись ящиками.

Почему?

Хотелось бы сохранить учтивый тон, но я срываюсь: "Почему вы туда забрались? И почему ваши так с нами обращаются?"

У нас плачут и глаза, и сердце. Но я продолжаю: "Разве ваши не знают, что здесь госпиталь? Что здесь только раненые? Что итальянские врачи не воюют? Вы что, не помните, как мы с вами обращались? Разве это дело, так штурмовать госпиталь?!"

Я разгорячился. На улице по-прежнему слышны крики. Я догадываюсь, что наши русские пациенты боялись расправы, но теперь, очевидно, успокоились. Они встают и пожимают нам руки: молодцы, мол, что остались.

Потом все мы ложимся на пол, потому что с улицы продолжают стрелять; и в таком положении продолжаем разговор.

Русский майор заверяет, что с нами будут обращаться хорошо.

— Итальянцы хорошие.

— Зачем же тогда штурмовать?

— Они не знали...

— Но мы же вывесили флаги.

— Наверно, они их не заметили.

— Ну, тогда...

Возникает мысль вступить в переговоры. Меня пробирает дрожь. Но слово уже вылетело. Входит лейтенант Ч.: мое предложение кажется ему превосходным; майор подхватывает его...

Как тяжело, Господь мой: надо идти на переговоры. Нести белый флаг, шагать посреди выстрелов, смотреть в лицо врагу и пожимать ему руку...

Ночь трагедии в горящем городе. Русские сказали, что им не было известно, что здесь — госпиталь.

— В течение пяти минут сдайте оружие, и останетесь целы.

Но пять минут уже прошли. Начгоспиталя сказал мне, что о сдаче оружия он знать ничего не хочет.

— Делай, что хочешь. — И выходит.

Чего же я хочу?

Вот: предписание сложить оружие не может быть нам предъявлено, потому что мы не боевая часть; однако нужно незамедлительно давать ответ, чтобы спасти, что еще можно.

С русским майором и его лейтенантом остались капитан М. и я. Они торопят нас с ответом (майор начинает демонстрировать нам, насколько он теперь важная фигура), но нам ведь важно и честь не уронить.

Донельзя бурное обсуждение завершается следующим выводом: "Слушайте, давайте сделаем так: мы не сдадим оружие, но гарантируем, что не

будет ни одного выстрела; вы гарантируете уважение к раненым”.

Майор соглашается, обязательства взяты. Приказ не стрелять мы отдали еще час назад: “Ни одного выстрела, офицеры отвечают жизнью”. На солдат мы можем полагаться.

Теперь кто-то должен пойти в русский штаб, несмотря на то что пять минут уже прошли.

Иду я и русский лейтенант. Земля горит, город похож на огромную жаровню, жизнь... а что, собственно, теперь жизнь?

Пламя высвечивает купол церкви. Внутри нас ждут вооруженные русские. Вот они скажут нам: “Проходите”; а потом?

У меня в голове вихрь из самых абсурдных образов: среди них — даже *новое облачение*, купленное сестрой. Пытаюсь представить себе, что эта трагедия — лишь сон; и может быть, я даже останавливаюсь, чтобы досмотреть его, потому что русский лейтенант трясет меня за плечо: “Быстро, сюда!”.

— Да, да, пойдём.

Я слышу крики у себя за спиной.

Пока мы пытались исполнить свою миссию, чем были заняты другие? Я больше никого не видел.

Четыре солдата зовут меня назад, выкрикивая, что есть силы имя капитана.

— Что случилось?

— Как вы побежите? — спрашивает русский лейтенант.

— *Ja nispani.*

Я в растерянности. Солдаты продолжают кричать. Капитан зовет меня: "Беги, беги!"

За госпиталем семь невероятно набитых грузовиков, заполошно гудят. Вдруг меня осеняет: это же последняя, отчаянная попытка прорваться, прямо через огонь.

— Но мы же окружены со всех сторон!

— Не думайте об этом.

— А как же переговоры...

— Выполнять приказ и не рассуждать!

"О, Боже, это — шаг к жизни или шаг к смерти? Что происходит? Всё рушится?"

Краем глаза вижу в грузовике капитана Б., который два часа назад клялся мне памятью своего *Бепи*, что уж он-то останется до последнего мгновения, даже если из-за этого ему не суждено будет увидеть сыночка. Меня прошибает слеза.

"Так значит, здесь действительно всё кончено?"

Успеваю заметить и лица капитана М. и лейтенанта Ч., которые так и стоят на дороге, озаренные пламенем, и только повторяют: "Безумцы, безумцы".

Потом меня подхватывает какая-то волна; мне кажется, что я тону, и вот... еле дыша, я обнаруживаю себя в кабине последнего грузовика.

Другие уже уехали. Теперь и мы трогаемся, и нас засасывает водоворот.

Доктор Н. спрашивает, почему я хочу выйти. У меня сдают нервы: "Ну, скажите мне, разве там, куда мы едем, кто-нибудь еще есть?! Вы что, не видите, что мы ходим меж двумя безднами?!"

Автоколонна отчаянно рычит; но я хочу остановиться, положить уставшую голову на снег и пронести свои предсмертные молитвы. Это — святой час...

Тапум тррррр... тапум тррррр...

Что это за движение в лесу? Какие-то люди бегут к колонне: нет времени разглядеть, что происходит, потому что разыгрывается адский шабаш.

Пули злобно визжат, над и под грузовиками: вопли, стоны, ругань...

— В кюветы, в кюветы! — кричит начальник колонны; нас окатывает волна ужаса.

Тапум тррррр... тапум тррррр...

От машин до кюветов рукой подать; но и этот клочок земли уже весь залит кровью. Мы лежим ничком на снегу, и нам кажется, что смерть заключает нас в свои объятия.

Очереди, залпы, ураганный огонь.

П. зовет меня; услышав отклик, он поднимается, чтобы подобраться ко мне, — и получает в грудь автоматную очередь. Падает; привстает, крича в смертной тоске: "Мама!"; потом снова валится на землю и затихает.

Какой кошмар, Боже!

Это судный час: начало конца.

Вокруг меня стоит стон истерзанной плоти. В начале колонны кто-то, похоже, стал отстреливаться — и огонь сосредоточился на нас. Но здесь не отстреливаются: здесь умирают. Кто-то плачет, кто-то стонет от боли, кто-то пытается пробраться вперед, туда, где первые машины, кажется, отрываются от колонны. Другие падают и падают...

Я соборую павших; эти лица, эти руки, эти тела, бездыханные навеки! Не частичка смерти: вся смерть, что есть на свете, набросилась па нас.

Дорогие мои солдатики... А мамы? Я же их знаю. . Боже, Боже, какая му́ка!

Так, опять заводят моторы: там, во главе колонны — жизнь. Щемящая надежда на спасение кричит: давай, попробуй и ты обогнать поток пулеметного огня!

Но нет, ведь этот поток — глас Божий.

Я остаюсь! Да нет, не остаюсь: эта кровавая баня заставляет меня вернуться назад, к мертвым, лежащим у сарая. Попросить у них прощения за то, что мы их бросили; и благословить в последний раз, перед концом.

Но что происходит?

Направление стрельбы вражеского пулемета, установленного на грузовичке, изменилось и идет теперь параллельно кювету. Это яростный порыв ветра, взметающий трупы, как былинки в грозу.

Пауза.

Город продолжает пылать: языки пламени освещают дорогу, так что ее видно как днем, но времени посмотреть, что там, нет, потому что автоматные и пулеметные очереди, хоть и стихают понемногу, все равно вынуждают нас вжиматься в снег.

Трех раненых, оказавшихся рядом со мной, я уговариваю не жаловаться на судьбу; если наступит короткая передышка, мы попытаемся продолжить путь. Другие живые уже ушли.

Ну, вот и тишина.

Я оглядываюсь вокруг, чтобы определить, есть ли еще какое-нибудь движение в лесу. Нет, всё тихо: русские, должно быть, уверены, что тут теперь — братская могила.

Загружаем троих раненых.

Водитель погиб. Есть другой шофер, но он ранен в левую руку. Может ли он все равно попытаться завести мотор?

При первых чихах мотора возобновляется стрельба.

Но сейчас у нас нет уже никакой, даже призрачной, защиты от этой дьявольской свистопляски.

Секунды длятся целую вечность: стальной шквал безжалостен. Трассирующие пули пролетают в миллиметрах от наших лиц, разбивают стекло, звякают об инструменты, висящие в кабине.

«Иисус, вот я! Может быть, я был слишком дерзок, когда надеялся спастись? Но теперь доволь-

но: в конечном счете, мне не жаль... *Consummatum est!*^м.

Мне вспоминается дорога, ведущая к старому дому, крик П., когда он упал.

Мне вдруг становится зябко до дрожи.

Язык огня лизнул меня: я чувствую, что из бока сочится кровь. Рапа тяжелая? Тишина внутри делается бездонной.

"Вот, Боже: но так и должно быть: это правильно!"

... Но что это делает водитель?

Может быть, я непроизвольно прикоснулся к его руке? Машина рычит; кажется, будто и она мучается вместе с умирающими. Вот она трогается, потом следует внезапный рывок и мощный удар о русский танк, стоящий на дороге.

Вопли раненых почти перекрывают грохот столкновения.

Мы летим в кювет и оказываемся по горло в снегу. Опять стоны и крики, опять автоматные очереди.

Я пытаюсь сдвинуться с места, но ноги не держат; с трудом ползу по снегу.

Стрельба адская: рвутся мины, рвутся гранаты. Судя по всему, бой возобновился и набрал силу девятибального шторма: сполохи пламени, вой снарядов, рёв моторов.

— Лейтенант, что будем делать?

* Совершилось (лат.).

— Делать больше нечего; повторяйте за мной
Акт скорби: Боже мой, каюсь...

Это лик смерти. Этот снег, к которому я прикасаюсь лицом, — чистый порог этого ужасающего дома людей...

О Боже, о Боже!

Я еще не сказал им, что и сам ранен; но больше не могу. Может, хоть им удастся выбраться...

— Слушайте, я вас сейчас причащу; потом вы... — У меня не хватает мужества закончить фразу.

Здесь, в кармане моей окровавленной куртки, ковчежец со Святыми Дарами.

Я дрожу: в отблесках пламени серебро сверкает. Вспоминаю, сколько осталось частиц: одна половинка и две целые.

“Ну и месса, Иисус, ну и месса!”

Снова грохот взрывов и моторов.

Подошли немецкие танки: это они подлили масла в огонь драки; дьявольские разрывы, винтовочная и пулеметная стрельба, уничтожающая всё живое, осколки, вспыхивающие в бликах огня. Прижимаюсь лицом ко снегу.

“Скоро ли конец, Господи?”

Раненые, ползущие за мной, тоже осознали опасность: “Неужели нас примут за штурмовую группу?!”

— Крикните, что мы — итальянские войска, господин капеллан!

Я ощущаю трагизм момента; но жертва уже принесена. Когда грохот на мгновение стихает,

поднимаю голову, собираю в кулак все силы и кричу, что мы – раненные, итальянцы.

Кажется, все только и ждали моего сигнала, чтобы виснуться друг в друга с удвоенной яростью.

Немцы стреляют, русские стреляют, итальянцы стреляют. Земля дыбится взрывами; дождь из гранат накрывает нас, и одна из них попадает в меня.

Ну всё, конец: кровь, лужа крови.

Мной овладевает отчаянное желание не утонуть в собственной крови. Но голова падает, глаза закрываются, а внутри мало-помалу разливается ничем не нарушаемая тишина.

“Так это и есть умирание, Господи?”

На краю канавы оглушительно разрывается снаряд немецкой самоходки.

Дальше – ничего.

КРОВАВЫЙ ГОРИЗОНТ

Жизнь еще есть, но она – курящийся светильник. До этой ночи я был солдатом на передовой; теперь я – аноним, пациент военного госпиталя.

Операция, гипсование, жар, опасность гангрены, неподвижность; а русские всё нажимают с дьявольской силой и здесь, на участке альпийских стрелков, и находятся всего в нескольких километрах.

Мои уехали

После появления спасительного танка меня подобрали и со всеми предосторожностями вынесли с поля боя, сквозь сумасшедшую ночную пальбу. Мы по-братски искали друг друга в этой буре; но последним, тем, кто дольше всех медлил с возвращением, оказался я.

Сразу же после операции, как только перестал действовать наркоз, все офицеры пришли ко мне: у всех были мокрые глаза.

Кто это сказал мне, что Лёню убили?

Руки у меня всё еще выпачканы кровью, лицо покрыто кровавой коркой, вся одежда пропитана кровью.

Отец Н. говорит, что я напоминаю сейчас Господа на кресте; а капеллан госпиталя, уступивший мне свою кровать, кладет руку мне на лоб и говорит, что температуру нужно снизить.

— Зачем?

Я мало что соображаю.

Я ведь теперь тоже — обломок войны; тоже превратился в балласт.

Альпийцы из I дивизии понесли огромные потери. А если линия фронта опять будет прорвана?

Меня бросает в дрожь.

“Боже мой, почему я не умер, может быть, я стал эгоистом? Я на пути жизни или на пути смерти?”

Как бы там ни было, это путь жертвенный. *Fiat**

* Зд. Да будет так (лат.).

Сестра купила мне новое облачение!.. А сейчас — канун Рождества, поют новену... *et stillabunt montes dulcedinem**. А здесь, сколько горечи, сколько слёз!

То и дело заходит капеллан и сообщает: "Еще один умер".

О, как мне это знакомо!

Мысль о доме появляется на моем горизонте, залитом кровью. Я ее боюсь.

Но буду ли я писать домой?

— Слушай, капеллан, передай с кем-нибудь, что я ранен. И еще... что я вернусь!

Но, чувствую, сердце упало.

— А епископу передай вот что: "я ранен и лежу во фронтовом госпитале. Отдаю всё ради того, чтобы Россия обратилась к Богу, а Италии сопутствовала удача.

Но мой канун — канун смерти. Я — *некто*, один из многих, готовящихся к смерти.

Всё погасло у меня внутри. Из-за ужасного состояния нервов любой, даже самый незначительный шум, кажется мне пулеметной очередью, и я подсакиваю на кровати, причиняя себе боль.

В духовном отношении я нем: по-прежнему проживаю в молчании свою жертву Богу, чувствую, что миг *перехода* лишь отсрочен: насколько? Но если раньше жертва моя была цельной и своевременной, то теперь она обессилела, распав-

* И горы будут источать сладость (*лат.*).

шись на тысячу фрагментарных усилий, направленных на то, чтобы противостоять злу.

Начались бомбардировки города с воздуха. Полдня моя нервная система пребывает в чрезмерном напряжении, и время от времени мне кажется, что я умираю, что силы меня окончательно покинули.

Но потом я впадаю в глубокое духовное бесчувствие. Когда падают бомбы (а падают они с частотой дождевых капель), плоть еще вздрагивает, но дух уже остается безучастным.

Бомбардировки продолжаются.

Опасность гангрены в руке увеличилась. Заходит проведать меня капитан интендантской службы, председатель союза Католического Действия.

Благодарю Тебя, Господи: этого достаточно, чтобы внутри у меня зажегся маленький светильник

Мне плохо.

— Лимона нет?

Опять сведения о погибших. Дивизия I разгромлена?

— Кто это сказал?

— Почему меня не отправляют отсюда?

Температура по-прежнему высокая. В госпитале заметно движение, похожее на то, что было в Кантемировке перед катастрофой. Вновь приближается трагедия? При одной мысли об этом

меня начинает бить дрожь. И опять гаснет возжегшийся было огонек веры.

Я – конченный человек.

Доходяга, испачканный кровью и землей и наполненный смертью. Санитары больше не подходят ко мне. Бедные, они совсем перегружены. Но я стораю от жажды: мне бы лимончик...

Удары с воздуха продолжают.

Капеллан прилег поспать на полу: уже два ночи. Я попросил дать мне четки для розария, оставшиеся от погибшего альпийского стрелка, и теперь читаю, читаю, читаю "Радуйся, Мария". Но, может быть, я не проговариваю молитвы, а кричу, глядя, как на оконных стеклах пляшут отблески взрывов? Мой коллега встает, чтобы дать мне попить.

Это ночь Рождества!

Ночь, когда рождается Младенец.

Бог мой, какие бури в мире!

В вертепе, который я хотел сделать, должны были присутствовать свет, мир и всё, внимающее... гласу Божию.

Но здесь, чему внимаешь здесь?

– Капеллан, русские пришли?

Выстрелы, очереди, разрывы авиабомб.

Он опять поит меня.

– Нет, не пришли.

... И все-таки, что-то неладно. Сердце у меня бьется сильно. Так, бомбы-то летят прямо в нас. И

вот пол разверзается прямо перед моей комнатой, там, где когда-то лежал раненый капеллан и где намечалось поместить вертеп в двух картинах: на одной был бы свет, на другой — тьма, на одной — мир, на другой — война; и там, где изображалась война, я собирался написать: "Колеса не крутятся!"

— Дорогой мой, не стоит вводить меня в заблуждение, даже не пытайся. Ты разве не слышал? *Колеса не крутятся!*

Всё это производит достаточно сильное впечатление на моего коллегу: он посылает за профессором Ч. и просит его зайти взглянуть на раненого капеллана, которому очень худо...

Профессор Ч. говорит, что, если я переживу этот кризис, возможно, дела пойдут на поправку и он отошлет меня отсюда.

Какое же трагическое нынешнее Рождество!

Мы окружены?

Все бегает вокруг умирающих; около меня ни души целый день.

"Может быть, если я не умер в кювете, это потому, что Тебе угодно спасти меня? И если мне на помощь подоспел танк, если за всю ту ночь я не претерпел больше никакого зла, значит, Тебе угодно, чтобы я вернулся домой?"

Продолжается бомбовый ливень.

Вся моя постель в кусках штукатурки.

Мои четки белого цвета...

Говорят, если я здесь еще на какое-то время задержусь, моя нервная система не выдержит. И поэтому завтра меня отправляют на самолете.

Нас бомбят по дороге на аэродром.

Следует ли нам ехать дальше?

Все единогласно "за".

В аэроплане жуткий холод; солдат отдает мне свои одеяла. А это летание по небу не опасно?

"О, Ангел Божий, хранитель мой...".

300 километров полета, при 45 градусах мороза, над русскими позициями...

В В. нас принимает капеллан Д.С.

И здесь от русских исходит реальная угроза. Мы проводим тут две ночи: вылазки партизан, противоречивые слухи о ходе боевых действий, пугающие известия об отступлении наших дивизий и рассказы о былинных подвигах защитников Черково...

Кто напишет историю Черково?

Однако какой же холод в этом помещении!

Здесь уже почти никого не осталось. Те немногие, кого мы застали, тоже собирались уезжать, потому что русские уже на ближних подступах к городу. Теперь, когда появились мы, нашим здешним хозяевам придется задержаться.

"Как же скверно, Боже, когда приходится причинять беспокойство ближнему!"

Рядом с моей кроватью лежит лейтенант-альцец, он очень плох. Ему уже удалили один глаз;

сейчас слепнет и другой. Он хочет покончить с собой.

— П., даже не думай об этом; возьмемся за руки на этой Голгофе, и вот увидишь, мы еще обретем свет!

Капитан М. приходит навестить меня ночью и с волнением говорит: "Капеллан, положение и здесь тяжелейшее: я сейчас слышал, что полковник сказал своим собирать чемоданы. Если завтра утром тут начнется пересортировка больных, уходи отсюда любым способом!"

Но что же это значит? Вся эта земля охвачена огнем? Где же камень, на который я могу хоть на миг приклонить голову?

Уезжаем, когда еще темно.

Все молчат.

У всех нас в глазах — отблески разрухи и разложения. Мы ничего не говорим, но время от времени бросаем быстрые, настороженные взгляды по сторонам.

Может быть, русские уже здесь?

Мне немного лучше.

Гангрены удалось предотвратить. Но эта ночная езда, это отчаянное бегство по дорогам, полным засад, никак не способствует заживлению ран. Грузовик превращается в крест, на котором возобновляются муки плоти.

В полумраке рядом с мостом видны очертания церкви города Калина. Никого там больше нет, колокол не звонит, двери закрыты.

Но при виде креста на сердце у меня становится немного радостнее.

“Боже мой, мне кажется, я вновь вижу Тебя, реально, как в ночь трагедии и как тогда, когда, на операционной койке, я передал Тебя капеллану в ковчеге, испачканном кровью.

Вокруг нас произошла катастрофа. Я боялся, что это – крах жизни, духа, всего. Но Ты жив, как и прежде: распад и крушение коснулись лишь материи и машины”

Рыково.

Мы погребены под снегом: вот уже несколько дней снег валит и валит, не переставая. Каждый час кажется нам вечностью, ведь все мечтают продолжить путь, уехать подальше от войны, от крови и от смерти. У всех нас такое чувство, что русские все еще близко, что они рвутся в двери, в окна...

Все пять дней мучительного ожидания мы не успеваем говорить о постигшей нас катастрофе. История альпийских стрелков, которые своими силами сдерживают всю русскую лавину, видится нам историей исполинов. Все рушится, но что-то остается.

И что в этом крушении значит отдельная личность? Кто спасет человека, погибающего под тапками и ти в придорожной канаве?

Меня поражает, что я еще жив. Друзья говорят, что мой случай – из ряда вон выходящий. И я задаюсь вопросом: почему же я цел?

Меня опять начинает бить дрожь, когда я вспоминаю подробности. Не прошел ли сам Господь рядом со мной, чтобы восставить меня из мертвых? И не об этом ли я просил Его, когда молился о том, чтобы Он пришел за мной туда, где я буду впереди братьев моих грешников?

Снег перестал.

Возобновляются боевые действия, а для нас — тревоги.

Все по-прежнему беспокойны, невеселы, мучительны. Когда же мы поедем дальше?

Сейчас от линии фронта нас отделяет почти тысяча километров. Но здесь расстояния не в счет. Существуют только две реальности: Италия и жизнь, русские и смерть.

Жуткие рассказы, крайне печальные новости. Альпийцы сражаются, как разъяренные львы. Но Россия усеяна трупами итальянцев. Всё будто договорилось против нас. Для тех, кто едет дальше — Италия, для тех, кто остается, — русские.

Атмосфера пропитана глухими терзаниями, замолчанными страхами, сдерживаемыми слезами, подавленными протестами. Но все жадно ждет одной вести. "Отъезжаем, снова в дорогу!"

Что ж, отъезжаем, снова в путь.

Очередной бросок — до Сталино.

Сталино кажется страной грёз, весны, жизни. Там будет санитарный поезд — кусочек Италии, можно будет обнять человека, у которого в

глазах еще стоит частица нашего родного неба, и излить ему в сердце толику нашей трагедии.

Но на деле в Сталино нас опять ждет невеселая картина. Когда прибудет санитарный поезд? Расчеты нас пугают. Придется нам здесь пробыть неделю.

Все свидетели наших несчастий — здесь: все скорби, все раны, все беды. Измученные люди, взгляды, все еще наполненные ужасом, голоса, в которых все еще слышится рыдание, сердца, все еще сдавленные кошмаром смерти.

Если зажигается свет, кто-нибудь непременно кричит: "Русские!"; если раздается шум, кто-нибудь орет: "Русские!"; если наступает тишина, все думают: "Это страх смерти".

Сформировался коллективный психоз, в котором сосредоточились все прошедшие страдания и который сулит нам новые, еще более страшные.

В большом университетском актовом зале, переделанном в часовню, голоса дрожат от холода и от страха. Все, мучаясь неспособностью как-то повлиять на события, молят Бога помочь им продолжить путь; "но поскорее, поскорее, поскорее..."

Новости скверные, хуже не бывает.

Армия Попова, заняв К., идет па Сталино?

Уезжают медсестры.

Могильная тишина, глаза, наполненные ужасом, кто-то готовит себе обувь для побега; а другие?

Ночью слышны выстрелы.

Это бомбардировка с воздуха или артобстрел?

Я никому не задаю этот вопрос, но дрожу.

В. тоже просыпается.

— Это бомбардировка или артобстрел?

Никто не отвечает, потому что все уверены, что это русские танки.

— Почитаем розарий?

Пришел санитарный поезд; но кому на нем ехать? Трагические сцены.

Один просит дать ему место в поезде, потому что у него трое детей; другой — потому что его ждут дома старики-родители; третий — потому что у него жена больна...

Я молча остаюсь на своем месте.

Меня не берут.

На какой-то миг я теряю самообладание, но тут же беру себя в руки и вновь обретаю мир.

“Не это ли путь воли Божией? Разве не верно, что и здесь камню не подобает выбирать себе место в здании?”

Я действительно произношу эти слова, но больше их не понимаю. Я понимаю только безутешность плачущих, подавленность безнадежно глядящих в окно, удрученность и отчаяние солдата, просившего отправить его, потому что у него дома трое детей, и получившего отказ.

А я?..

Есть сведения, что русские — на шоссе под Сталинно. Но нам на вырубку идет немецкая Тулонская армия.

... Появился еще один санитарный поезд. Он уже для нас.

От этой новости мы теряем дар речи, как от внезапной боли. Оказывается, у радости может быть тот же лик, что и у страха.

Даже заходя в госпиталь на колесах, мы чувствуем за спиной дыхание русских. Желание выбраться из этого ада до того жгучее, что мы каждый миг ощущаем, как оно опалает сердце.

Нас бомбят, но это нас не заботит, а вот образ русских, неотступно следующих за нами, до Днепра, до Львова, до Кракова, переворачивает душу.

Только в Зальцбурге кто-то начинает улыбаться — когда, впервые за многие месяцы мы вновь слышим колокольный звон: колокола вызывают «Аве Мария».

Новый день.

Новое благовестие Ангела миру.

КРЕСТ НА ПОДСОЛНУХАХ

Сейчас, — во всяком случае, в России, — буря стихла.

Оттуда возвращаются последние эшелоны: это славные отголоски боев, подобных которым немного было в истории.

Там, в степи, от нас не останется ничего: разве что чертвецы на военных кладбищах, паши кресты и грандиозные эпопеи защитников Черково и альпийских стрелков под Россошью.

Скоро люди перестанут интересоваться событиями в России. Но в школьных учебниках по истории, рассказывающих о наших последних, трагических неделях и днях, найдется, может быть, одна, которая пробудит в них желание пофантазировать о давних славных делах в далеком чужом краю...

Теперь вся драма безмолвно уходит в сердца тех, кто продолжает, ни на миг не отчаиваясь, искать своих пропавших без вести родственников.

Вот мать в письме спрашивает меня, не видал ли я ее сына...

Вот молодая женщина преодолела четыреста километров, чтобы узнать у меня, не видал ли я ее мужа...

Отвечая отрицательно, я чувствую, что говорю неправду. — потому что у наших солдат было одно лицо, я бы даже сказал — одна мать; и этих сыновей, этих мужей я видел: это те, что падали на дорогах, или те, что похоронены на подсолнуховом поле, где сейчас возвышается крест...

Всё кончилось.

Начгоспиталя М. вернулся — и сразу же ринулся вытаскивать из руин разбомбленного дома в Г. двух своих малышей и жену: отвез их в горы.

Говорит, что хочет побыть в уединении и в семейном уюте своего дома, вдали от человеческого гама и ненависти.

Б. по возвращении, скорее всего, немедленно бросился в А., сказать невесте, что бессмысленно ждать, пока кончится война, чтобы строить дом. Я должен был говорить слово у него на свадьбе, но печальные события не позволили мне этого сделать. А жаль, потому что я с удовольствием воздал бы должное его искреннему и щедрому сердцу.

Я уверен, что рано или поздно встречу его неожиданно на улице. И хотелось бы, чтобы народу вокруг было поменьше, потому что его объятия будут такими шумными, словно мы все еще совсем одичавшие, как когда-то в Кашарах.

Д., наверно, опять погрузился в свои вычисления. Надеюсь, ему удастся поставить перед собой самую замечательную и увлекательную задачу, решив которую, он смог бы, наконец, обрести твердую, незабываемую точку в океане разрушительного философского релятивизма, который не позволяет ему сделать еще более плодотворными свои поиски. Но конечно же он расслышит призыв креста и в своем холодном мире чисел.

От Г. я получил письмо пару месяцев назад.

Но как же нам теперь встретиться? Его отец, наверно, ждал его с тревогой и нетерпением, особенно с того дня, когда его направили, может быть,

из-за безотчетной любви к "зеленым петлицам", в район Ч., где альпийцы совершали свои последние подвиги. Все это гармонировало с его характером: его альпийский нрав искал выхода.

Сейчас — несмотря ни на что — ему должно быть лучше на душе.

О других — ничего не знаю.

Например, — о *большом*, лейтенанте Ч., который заполнял собой жизнь подразделения. У него было сердце, соразмерное телу. В ночь несчастья он взял меня на колени и так и продержал до самой Россоши, вымокнув в крови, струившейся из моих ран.

У него не было сомнений относительно исхода войны.

Он говорил о своей матери, которая одна ждала его дома, так, словно уже не рассчитывал с нею увидеться. Однако он вернулся; впрочем, судя по всему, сразу же затерялся на дорогах Юга в поисках своего дома.

Обо всех других друзьях, офицерах и солдатах, с которыми мы побратались в радости и в скорби, перейдя на "ты" со смертью, мне ничего не известно.

Многое, должно быть, произойдет; случатся, возможно, новые жестокие и кровавые потрясения, подобные тем, свидетелями которых были мы; но даже если нам не суждено больше увидеться, для

⁷ Прозвище альпийских стрелков.

всех нас дороги России будут всегда полны нашими воспоминаниями и нами самими — врачами и санитарями, медбратьями и дровоколами. Все эти люди трепетно ожидали прибытия раненых, чтобы посмотреть, “нельзя ли облегчить хоть кому-нибудь непереносимые страдания войны”...

Вот и мое военное время кончилось.

Вокруг — симптомы новых потрясений, слухи о трагедиях, возможно, еще более крупных и близких.

Пока затягиваются раны, я, готовясь вновь приняться за пастырские труды, остаюсь один в своем доме на холме и общаюсь с военными “сувенирами”.

Это — куртка, изорванная пулеметной очередью на той дороге в Митрофановке, окровавленная чаша и служебник, пробитый осколком.

Они видятся мне тремя заключительными этапами моего странствия к миру. Я не раз ловил себя на мысли, что эта куртка без единой пуговицы, выбеленная солнцем и выношенная, хочет обезличить меня, — и порой мне приходилось даже ощупывать себя, называть себя по имени и фамилии и громко вопрошать себя: “Ты капеллан?”; потому что я бывал очень близок к тому, чтобы перестать это чувствовать.

Но разве не этот путь был путем моих братьев?

Разве не на этой дороге происходила встреча с миром? Под красным крестом на груди у меня

был карман, в котором я носил — сколько раз! — Христа; в том числе — и под пули, и даже ведь испачкал Его кровью. И я думал, что это правильно: получается, что, таким образом, служитель Божий действительно имел при себе святыню; но думал я и о том, что только в этой куртке, выношенной, выбеленной солнцем и снегом, я мог это делать.

Теперь она лежит без дела и выглядит старой тряпкой; я отдал бы ее нищему, если бы не эти четыре-пять прорех, которые мне явственно напоминают дорогу в Митрофановке — символ всех дорог в мире, где ждут братья...

Есть своя история и у чаши.

Я сожалел о том, что поместил ее в левый карман: находясь в другом, она не оказалась бы — так непочтительно! — измазана кровью. Один друг сказал мне, что в этом нет ничего плохого, — потому что это помогает более наглядно свидетельствовать о нераздельности жертвы Христовой и жертвы человеческой.

Если бы ты знал, как это было нужно!

Я возносил чашу — вопреки степному солнцу и вопреки северным ветрам — в канун нескольких великих Праздников. Солдаты стояли навытяжку; играла труба; ветер неистовствовал, норовя опрокинуть всё на траву, — но требник покоился на штыке, винтовка подпирала стол, одной рукой я держал гостию, другой поднимал чашу: казалось, мне приходится бороться с какой-то враждебной

силой, которая старается помешать совершению жертвы...

Как же глубоко осознавал я в те минуты божественную актуальность жертвы Иисусовой посреди великой человеческой жертвы! И вся проблема страдания наполнялась новым смыслом: по борозде, вырытой кровью и смертью, снова проходил Искупитель, чтобы призвать нас к жизни.

Я шептал об этом на ухо многим; и многие, узнавая Христа и сдерживая подступившие слёзы, соглашались со мной...

История со служебником — очень личная.

Вся до конца она не станет известной никому и никогда.

Но поскольку и ему довелось пройти крещение огнем (что это было, осколок гранаты или мины?), он заслуживает хотя бы нескольких слов. Сколько раз, когда силы оставляли меня, я ронял голову на его раскрытые страницы! Но всегда носил этот служебник с собой. Так было и в тот день, когда, размышляя о печали грядущего плена, я положил его в карман после того, как записал в нем: "19 декабря, 11 часов: если мы спасемся, это будет чудо"; а лейтенант Б., сидя рядом, качал головой и проливал слёзы. Эта деталь до некоторой степени позволяет понять, сколь драматична история моего служебника. О, нет, ничего необычайного! Наоборот, всё пугающе естественно — настолько, что многожды, в этом водовороте материи, казалось

даже, что эта история вот-вот исчерпает себя. Озверелая свирепость материи, ведущей борьбу против духа, ни на одной войне, а может быть, и никогда во всей современной истории, не проявляла себя с такой впечатляющей силой, как в некоторых уголках России. Тогда и в сердце капеллана поднимался, на волне бунта, голос зла, противоборствующего Богу: и возникала острейшая потребность в *благодати*, которая бы пришла бескорыстным даром Божиим, дабы подействовать на человеческую природу, укротить бешенство бури и принести немного жизни в этот океан смерти.

В такие моменты я вцеплялся в служебник, и в этом жесте была глубокая потребность в молитве, в свете и в Боге: так солдаты, идя в атаку, с надеждой и верой хватаются за чётки розария.

В самые трагические мгновения, перед лицом самых грозных проявлений сил природы и неодушевленной силы материи, все в России, без помощи чудес или сверхъестественных вмешательств Бога, явственно чувствовали, что над нами есть Некто Другой, Сила и Разум, превосходящие нас.

Это маленькая страница большой истории. Новая апология христианства, адаптированная к современному человеку.

Мы стали людьми зрения, состоящими исключительно из чувств. На нас воздействует

только то, что воздействует на наши чувства, потому что разум у нас внутри почти атрофировался.

Кинокартина, авто- или велогонка, футбольный матч или нечто подобное — единственные события, которые еще могут нам что-то сказать.

Но Провидение, воспользовавшись страшным, непомерным пожаром, который мы любой ценой захотели разнести по миру, создало для нас новый катехизис и подготовило нас к новой встрече с Искупителем.

Не является ли история этих лет грандиозным отображением *недостаточности* человека и существующей у него потребности в Боге?

И не в этом ли единственный повод для утешения перед лицом стольких бедствий? Если есть в истории позитивный смысл, страдание чего-то да стоит, и погибшие не пожертвовали собой напрасно.

Слишком многие, всё еще захваченные неистовством схватки, до сих пор не прозрели. Но немалое число знамений уже свидетельствует об усталости человека.

И когда колокола возвестят о времени мира и о начале возвращения, тогда, в трудной работе возрождения, каждый из мёртвых послужит нам призывом к жизни; и ко многим по-новому обратится и крест на подсолнухах.

Дополнение

Эти скромные страницы военных мемуаров и появились на свет, и сохранились благодаря весьма необычным обстоятельствам. Однажды приходит ко мне лечащий врач (я был тогда в Болонье, в Центре Пути) и говорит: "Капеллан, я решил дать тебе три месяца на исцеление. Выбери место в горах по своему вкусу и, пока будешь там отдыхать, запиши всё, что прошло через твоё сердце за эти 16 месяцев войны; а потом забудь об этом лет на пятнадцать".

И всё точно так и получилось. К тому моменту, когда произошла эта встреча в Болонье, я уже месяца два находился в Италии вместе с группой других ветеранов русской войны: каждую ночь нам снились кошмары, возвращающие нас в *далину смерти*. И может быть, лучшего лекарства, чем то, которое предложил мой командир, не существовало.

И вот я вручил ему свои 20 тетрадей и решил *забыть о них*, а он решил проследить за тем, чтобы они увидели свет, и известить меня об этом только, когда всё будет готово. С тех пор, подобно свидетелю, от которого я никак не могу избавиться, эта книга следовала за мной под видом безмолвного, но неразлучного спутника, — изданиями и переизданиями: я им уже почти потерял счет и уж конечно не способен объяснить такое явление.

Одним из первых моих читателей был старый друг по России о. Карло Ньюокки, капеллан — в те годы — Трентинской Дивизии. Желая сказать слово о внутреннем содержании этих страниц, не могу удержаться от обнародования одного из давних писем отца Ньюокки, которое я, опять же случайно, обнаружил в своих бумагах.

Арозно, 28 декабря 1945 г.

Pax Christi!

* Дорогой о. Альдо!

Я получил и проглотил за один вечер твой удивительный дневник жизни на русском фронте и всю ночь грезил о тебе. Не замедлю с заслуженными похвалами книге, твоему стилю, мягкому и образному, изысканности твоей пастырской души. Но, знаешь, у меня к тебе одно необычное предложение. Послушай. Как тебе известно, а может быть, и нет, я — директор Института инвалидов войны: это пятьдесят человеческих обрубков, с этой и с той войны. А с 8 декабря я открыл еще Приют для сирот войны и политической борьбы: это пятьдесят детей моих павших солдат и людей из всех партий, погибших в ходе наших недавних горестных событий. Я работаю в институте Ындзага, где у меня две тысячи учащихся, только для того, чтобы найти здесь источник материальной и духовной помощи — не имея пока мужества веры, достаточного, чтобы уповать исключительно на Божий промысел.

* Мир Христов (лат.).

Эта работа делает меня счастливым. У меня такое чувство, что я плачу по векселям, которые подписал на войне со всеми моими погибшими и изувеченными подопечными. Такие векселя, по моему, подписали все военные капелланы, как ты и я, когда говорили с походного алтаря: "исполните весь свой долг до конца, а об остальном позаботится Господь". И, наверно, мы поступили бы не слишком искренне и последовательно, если бы, подобно миру и так называемой родине, сняли с себя серо-зеленую форму, забыли своих страдавших товарищей, которых мы благословляли и ободряли, отреклись бы от мертвых, которых сами оправдали пред Господом и... отпраздновали приход! Эта измена для нас невозможна.

Идем же со мной, или позови меня, и я пойду с тобой, рядом с нашими ранеными, с нашими солдатами, с сиротами наших павших, чтобы не дать угаснуть памяти об усопших и об их жертве. Ибо она всегда жива и ценна пред Богом.

Ринемся же без оглядки в это святое приключение: ведь оно — продолжение и развитие того дела, которое мы начали на войне. Я готов оставить всё и целиком отдаться этому святому делу высочайшей апологетической ценности. Уже восемь месяцев я отдаю ему душу и тело и чувствую себя *на своем месте*. Как можем мы, после столь великого страдания и такой бойни, после того, как милость Божия столь чудесно даровала нам жизнь, — как можем мы стремиться к каким-то иным целям?

Мне нужно найти соратника. Уже очень давно я прошу об этом Господа. И мне даже не верится, что я заслужил эту благодать; но после прочтения твоей записки мне показалось, что ты мог бы быть предназначен для этой миссии. И что мне удалось бы обрести в тебе товарища, с которым можно объединиться и который мне необходим. Всё за это: твой возраст, твоё внутреннее устройство, твоё просвещенность, твоё сердце. Подумай и помолись на эту тему. А потом приезжай ко мне в Милан.

Моё малое дело за эти месяцы довольно продвинулось, с явной помощью Господней. Я собрал почти два миллиона и ожидаю достаточно значительной финансовой поддержки из Америки и Швейцарии (куда отправляюсь завтра). Однако умения слишком много работы, и, думаю, только разделив ее со священнослужителем, я смогу довести ее до конца. Проповеданием, писанием мы могли бы зарабатывать себе на хлеб, а всё остальное свое время отдавать изувеченным, инвалидам и сиротам. Надеюсь не показаться тебе слишком настойчивым, напомнив об уже вполне состоявшемся альянсе Минюцци-Семерия, *si licet magna componere parvis...**

Жду тебя в молитве.

Твой о. Ньюки

PS. Центр в Арозиньо — светское учреждение, но мы можем направить его по иному пути и сделать Церковью. Церковью, которая осуждает войну, но склоняется перед ее скорбными жертвами!

Вперёд, отец Альдо!"

*Если позволительно сравнивать большое с малым (лат.).

Хотя это письмо написано под влиянием острой потребности в испытании, которая ему (да и мне) не давала покоя... нет, не "хотя", а именно потому, что это так, столь личное послание раскрывает сокровенную тайну всех предыдущих страшиц, а может быть, и объясняет причину их долговечности.

"Nevermore". Никогда больше!

Это выражение я беру взаймы у своего нынешнего близкого друга, Питера Бенненсона, известного в качестве основателя "Amnesty international". Несколько месяцев назад, выпуская голубей на острове Сан Джулио, он задумал создать новое международное движение, не в силах выкинуть из сердца лагеря массового уничтожения последней великой войны. "Никогда больше — городов смерти, никогда больше — войн; пусть будут города мира". Он мечтает возвести, для новых угнетенных и бездомных, цепь городов во всем мире — столько же, сколько было лагерей смерти. Кто-то называет его поэтом, потому что только поэт может произнести такое слово: "Nevermore" — никогда больше!

Я же считаю, что думать так и отдавать жизнь для того, чтобы это осуществилось, — в духе не только поэзии, но и Святого Писания. В любом случае, то же чувствовали и мы, когда возвращались из того ада жестокости, которым была война в России, и наши сердца переполняла уверенность, что *слава Божия — человек живущий*. Но почему же тогда нам приходится наблюдать столько человеческих не-

взгод? Понять это нетрудно: "*Gloria Dei, vivens homo; vita autem est visio Dei*". Истинно сказанное св. Иринеем: "Слава Божия — человек живущий; но жизнь есть лицезрение Господа".

СОДЕРЖАНИЕ

- Предисловие к русскому изданию 7
 К читателю 16
 Странствие к миру 19
Интермедии кончились 29
 Моя церковь 36
 Путевые заметки 41
 Страдания народа 48
 Воздух России 53
 Военные мотивы 62
 Колеса не вертятся 76
 Это Россия 84
 Беспризорники 96
Горизонтальная цивилизация 103
 Окровавленный крест 110
 Тыловая жизнь 122
 "Esse homo" . наоборот 140

Эшелон смерти	152
Татьяна, это ветер?	161
Хочу построить благую смерть	172
Проповедь "милосердной любви"	191
Мгновенные снимки в степи	205
"На востоке без перемен?"	216
Фрагменты эпопеи	224
Загадки российской истории	231
День усопших	238
Кто такие партизаны	245
В преддверии бури	254
Ноябрьское ожидание	262
Кровавое пробуждение на Дону	295
Встреча со смертью	322
Кровавый горизонт	346
Крест на подсолнухах	358
Дополнение	367

Альдо Дель Монте
КРЕСТ НА ПОДСОЛНУХАХ

Сдано в набор 15.07.2000
Подписано к печати 10.10.2000
Формат 70x100/32.
Печать офсетная. Печ. л. 11,5
Заказ №7084

Фонд имени Александра Меня
Сер. ИД №02019 от 13.06.2000
103009, Москва, Столешников пер., 2
тел. (095) 229-52-62

Отпеча тано с готовых диапозитивов
в типографии Благотворительного
центра «Путь, Истина и Жизнь»
тел. (095) 742-78-07

Список опечаток и исправлений

стр.	строка	напечатано	следует читать
35	3	это	этот
35	5	погреблю	погреб
136	23	звенит	звонит
158	24	попирают их ноги	у них под ногами
159	21	Они страшно	Страшно смотреть, как они
188	13	глаза его заволоклись несколькими слезинками	в его глазах заблестели слезы
242	12	те, кто у нас здесь	близко
259	17	не воюешь	войну не выиграешь
276	14	усвояли	усвоили
278	19	обойдутся	обойдется